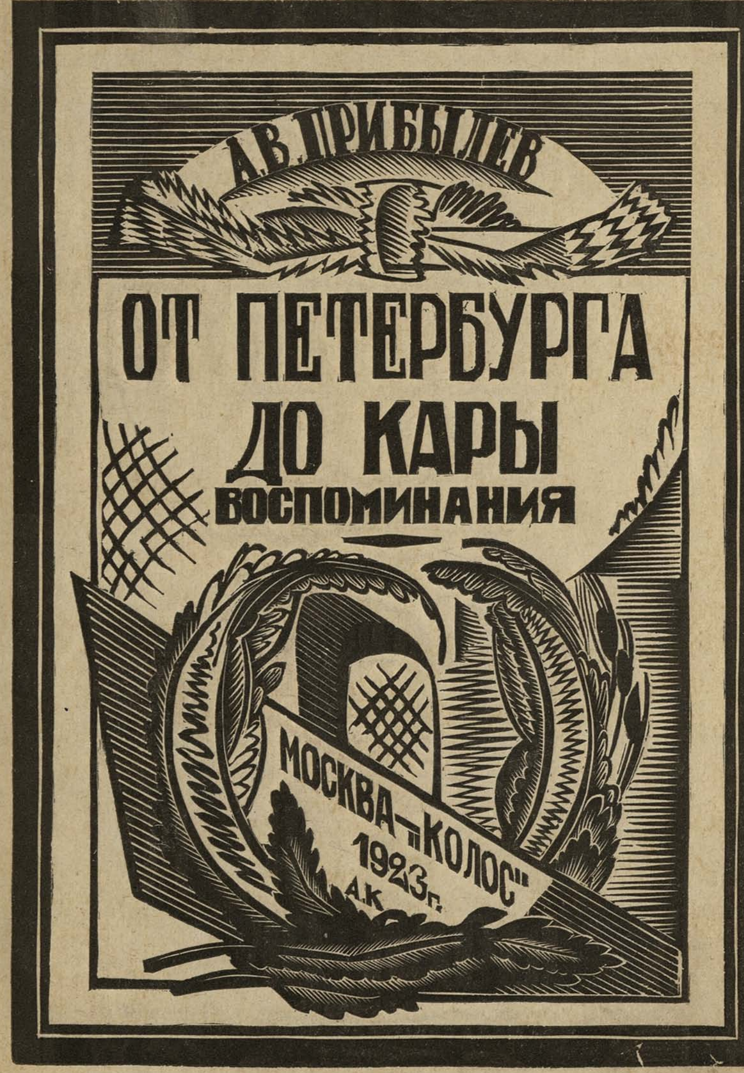
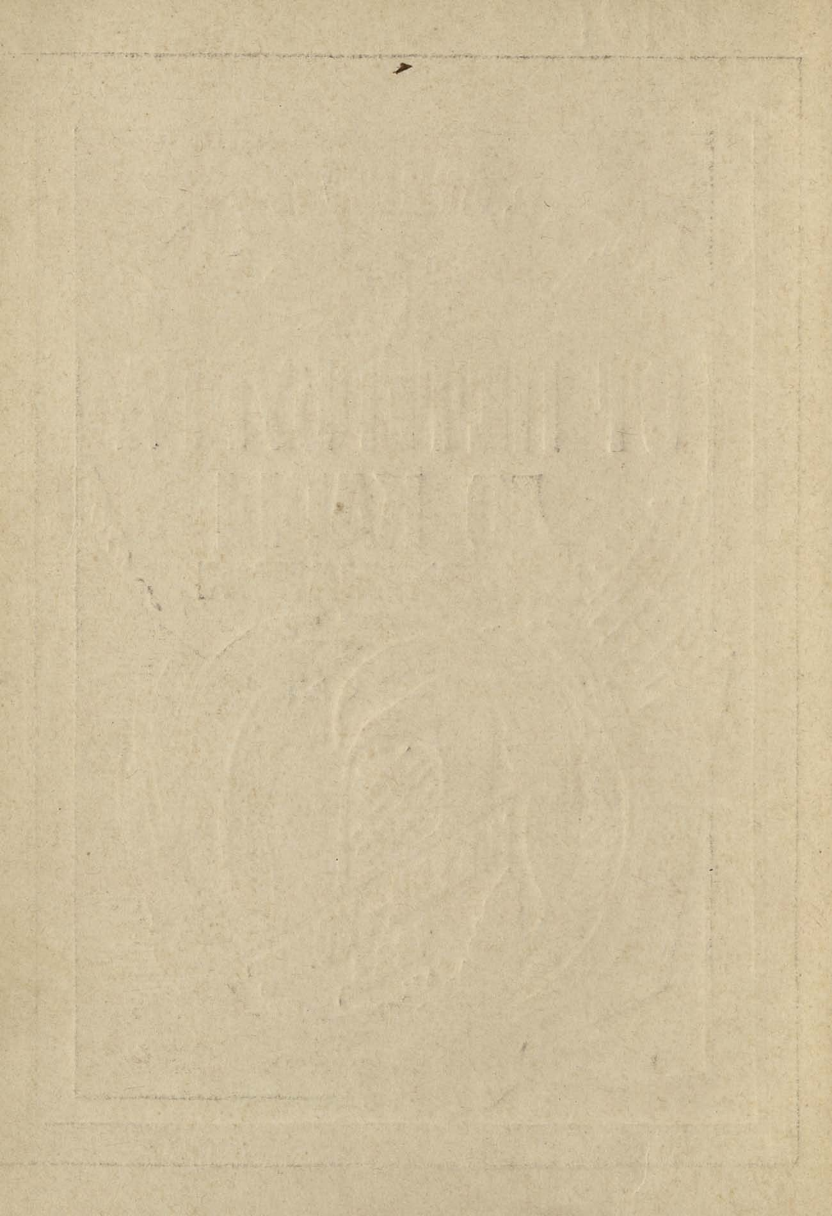

А. В. ПРИБЫЛЕВ
ОТ ПЕТЕРБУРГА
ДО КАРЫ
ВОСПОМИНАНИЯ
МОСКВА — „КОЛОС"
1923 г.
А. К.




ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОЛОС

А. В. ПРИБЫЛЕВ

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО КАРЫ

В 80-х ГГ.



МОСКВА
„КОЛОС“
1923.

Главлит, № 7077. Тираж 5000 экз.

Типография „Полиграфическое Искусство“, Крестовоздвиженский, 9.

Весной 1883 г. особое присутствие Сената с сословными представителями разбирало третий крупный процесс народовольцев-террористов, так называемый «процесс 17-ти лиц». Среди виднейших представителей партии, членов Исполнительного Комитета «Народной Воли», как Богданович, Грачевский, Телалов, Корба, Ивановская и др., в этом процессе судились и более молодые члены партии, еще мало чем зарекомендовавшие себя в партийной работе, как недавно вступившие в число активных членов партии. К последним я причисляю и себя, вместе с моей женою Розой Львовной. Обвинительный акт и приговор по этому процессу напечатан полностью в журнале «Былое» в октябре 1906 г.; мои воспоминания о процессе помещены на страницах «Былого» в 11-й кн. того же года, и там мною дана посильная характеристика некоторых моих сопроцессников, наиболее мне знакомых и когда-то близких, а теперь уже давно покинувших наш мир.

Здесь, в интересах наибольшей ясности дальнейшего изложения моих воспоминаний, являющихся прямым продолжением указанной выше статьи, я

позволяю себе сказать несколько слов о моей дорогой и незабываемой сопроцесснице — моей жене Розе Львовне, присужденной к лишению прав и к ссылке в каторжные работы на 4 года.

Роза Львовна родилась в м. Городище (Киевской губ.), где ее отец — Лев Моисеевич Гросман — занимал место врача при сахароделательном заводе Яхненко и Семиренко. Когда ей было уже 8 или 9 лет вся семья переехала в г. Одессу, где весьма скоро д-р Гросман приобрел большую популярность и стал пользоваться общей любовью и уважением. Обстановка высоко культурной, развитой и интеллигентной семьи, поддерживаемая и лелеемая матерью Розы Львовны — любвеобильной, умной и литературно-образованной Генриэтой Васильевной, положила первые основы тех альтруистических чувств, которые особенно отличали весь характер и всю последующую жизнь Розы Львовны. Далее, поездка всей семьи за границу (по поводу болезни отца) и особенно знакомство в период юношества с радикальной молодежью завершило строение мировоззрения молодой девушки, уже тогда решившей отдать свои силы на служение народному делу. Особенно сильное влияние в этом отношении на Розу Львовну оказало знакомство с Павлом Маврогеном и Андр. Иван. Желябовым, явившимися подлинными учителями в деле ее общественно-политического воспитания. По окончании среднего образования она выехала в Петербург, где изучала медицину в Женск. Медицинск. Институте в течение 4-х с половиною

лет. За это время однако же влечение к политической деятельности не позволяло ей порывать отношения с партийными деятелями. Не будучи пока активной работницей партии, Р. Л. все же не уклонялась ни от какого содействия ей, поскольку это позволяла раз намеченная образовательная цель. А она хотела бы войти в настоящую активную работу лишь вполне правоспособным, независимым, так сказать цензовым человеком, чему в то время еще придавалось очень большое значение как со стороны общественнаго мнения, так и со стороны самой партии.

Но обстоятельства для этого сложились неблагоприятно. Разгром партии после 1-го марта 1881 г. так сильно обескровил ее, что каждая уже испытанная сила была на счету. Мы же, сознавая себя «солдатами партии», должны были подчиниться первому призыву Исполн. Комитета, как только он почувствовал нужду в нас!.. Таким образом в начале 1882 г. Роза Львовна бросила курсы, чтобы взять на себя ответственное и в высокой степени конспиративное дело — динамитной мастерской, — отчасти в целях создания технической группы партии, отчасти и для более конкретной цели — покушения на свирепствовавшего в то время Судейкина. Это и было нами выполнено, но это же и привело нас на скамью подсудимых в процессе 17 лиц.

После целого года тюрьмы, следствия и суда мы были отправлены на место ссылки, в более чем $1^1/_2$-годовое путешествие по дебрям Сибири, чтобы достичь

далекого уголка, почти у Китайской границы, где собралось немало пасынков России, как и мы, осужденных, проклятой памяти, царским режимом. Это продолжительное путешествие, полное тяжелых переживаний, физических и моральных страданий, но нелишенное и радостных минут, является темой предлагаемых читателю очерков.

Нежная, хрупкая, привыкшая в семье к холе и ласке, Роза Львовна однако же обладала такой стойкостью и силой духа, что из всех испытаний выходила победительницей, и никто никогда не слыхал от нее ни единого слова жалобы или упрека своей подчас нелегкой судьбе. Совершенно напротив, своей жизнерадостностью, нередко громким, веселым смехом, даже в тяжелые минуты жизни, она ободряла окружающих, вливала новую энергию в душу унывающих, поддерживала слабых, возвращала их к бодрости и самоуважению. Ее всегдашняя вера в свою «звезду», как она любила говорить, уверенность в счастливой судьбе, грядущей за моментами испытаний, поддерживала всех и вся. Потому всегда и всюду Роза Львовна была любимым и желанным товарищем, охотно делившим и горе и радость с близкими людьми.

Беззаветно преданная делу, давно решившая отдать себя целиком борьбе за народное благо, как понимали ее старые народники, она в то же время желала и мечтала использовать себя с наибольшей продуктивностью; далекая от внешнего нигилизма, всегда заботливо относящаяся к чистоте и порядку,

но и совершенно лишенная общежитейских предрассудков, Р. Л. представляла собою цельную личность, к каковому идеалу и стремилась всегда. Она считала более целесообразным отдать себя всецело делу борьбы лишь тогда, когда своей законченной личностью она могла бы больше импонировать и обществу, и будущему суду и быть полезной своими прикладными знаниями народу, если бы впоследствии это выпало на ее долю.

Предстоявшая нам дорога не обескураживала ее; совсем напротив, именно ей, с присущим ей самообладанием, пришлось поддерживать веру в лучшее будущее среди провожавших ее родных, повидимому утративших надежду увидеть ее когда-либо снова. Своей неустанной бодростью она поддерживала и свою старушку мать, боготворившую ее, в минуты ее естественной слабости, при виде тяжелой обстановки и еще более горшей участи, предстоящей ее любимой дочери...

Вспоминая теперь все перипетии нашего продолжительного совместного пути, с яркостью фотографического отпечатка представляя себе малейшие штрихи пережитого, и зная, что сама Роза Львовна при жизни своей в своих воспоминаниях нередко возвращалась к тем же переживаниям, я испытываю глубокое самоудовлетворение, имея возможность посвятить ее светлой памяти этот несовершенный и слабый труд моих досугов.

---

1. Начало пути. Москва [1]).

Іюнь 1883 г. близится к концу.

Все процессуальные формальности следствия и суда для превращения нас как бы в простой номер, следующий при особой бумаге — статейном списке, — окончены, и мы ждем последнего акта — превращения нас и с внешней стороны в людей особой категории, в людей «бубнового туза».

Вновь, как и перед судом, мы переведены в камеры нижнего этажа Дома Предварительного Заключения. Я слышу как хлопают двери соседних камер, справа и слева от моей, как раздаются шаги моих товарищей, проходящих куда-то мимо моих дверей, и как потом в шум этих шагов вливаетси новый, незнакомый для моего уха звук, звон железных цепей...

Наконец и меня просят пожаловать куда-то. В сопровождении надзирателей и помощника смо-

---

[1]) Последние главы настоящих очерков, предлагаемые здесь в переработаном и исправленном виде, первоначально печатались в „Сибирских Записках“ в 1916—17 гг.

А. П.

трителя меня приводят во врачебную комиссию, раздевают до-нага, измеряют мой рост, описывают приметы, убеждаются в моем здоровьи и пригодности для путешествия. Отсюда меня ведут в подвальный этаж, туда, где расположены ванны, баня и пр. Здесь, в раздевальной комнате при бане, уже ожидают и парикмахер—для приведения в должный порядок моей куафюры, и кузнец, долженствующий снабдить меня украшениями, присвоенными моему новому званию. Первый живо справился со своей задачей: сперва коротко остриг мою шевелюру, а затем и обрил правую половину головы. Операция не из приятных, особенно приняв во внимание не очень умелые руки солдата — парикмахера самоучки. Надзиратели предложили мне снять костюм и заменить его новым: казенным бельем, котами и халатом с бубновым тузом на спине. Очевидно в утешение, помощник смотрителя при этом пояснил, что имеющиеся в их распоряжении запасы арестанской одежды заготовлены на рост не выше средняго и потому для меня должны были приготовить отдельный комплект в виду моего высокого роста.

Теперь я перешел в руки кузнеца. Этот лучше парикмахера знал свое дело и быстро справился с заковыванием моих ног в кандалы. Оказалось, что и цепи эти были сделаны также для меня по особому заказу и были на одно звено длиннее и фунта на 2 тяжелее против обычно принятой нормы.

Далее небольшая практическая лекция о том, как надевают и носят «поджильники» и «подкандальники», чтобы тяжелое кольцо кандалов не било ногу, и вся процедура внешнего преобразования была закончена.

Не могу сказать, чтобы все это произвело на меня сколько-нибудь сильное впечатление. Я был совершенно равнодушен к этому переодеванию отчасти потому, что оно приближало меня к концу ненавистного мне одиночного заключения, отчасти потому, что я был к нему слишком хорошо подготовлен. Говорили, однакоже, что кое-кто из нас нелегко перенес такое преобразование своей внешности. Мне же было только противно смотреть на себя в этом виде, с чисто эстетической точки зрения.

Каждый из нас был снабжен простым холщевым мешком для наших вещей, взамен чемодана; туда мы должны были сложить все то, что было разрешено взять с собою; это и был впоследствии наш «бутарь», следовавший с нами на подводе до самого конечного пункта нашего пути.

Отдохнув несколько после треволнений дня в своих камерах, вдоволь налюбовавшись на себя в нашем новом виде в последние часы одиночного заключения, мы, наконец, поздно вечером были все,— предназначенные к отправке,— сведены по одиночке, один за другим, в одну общую залу, где и оставались до выезда на вокзал Николаевской ж. д.

К большому нашему удивлению в этом сборном зале мы нашли довольно недурно сервированный

стол с кипящими на нем самоварами, с большим количеством булок, печенья, ветчины, колбасы и пр. Это было последнее угощение Петербурга, или в частности Дома Предв. Заключения, для людей, отправляемых в далекое путешествие из-под его гостеприимного крова.

Один за другим входили сюда наши товарищи по пути, в большинстве уже знакомые между собою, частью впервые здесь встречающиеся. Общая участь наша однакоже быстро роднила нас и через какой-нибудь час времени все были уже более или менее друзьями.

Сперва собирались мужчины — все, как один, в сером костюме, с мешком на плечах и с цепями на ногах; прежде всего четверо наших сопроцессников, затем Мирский, Волошенко, Орлов, Нагорный и пр. За ними стали вводить женщин, также обряженных в серые суконные юбки, с белым платком на голове и серым халатом на плечах. Кроме семи наших сопроцессниц, тут были Якимова и Лебедева. Провожающее нас начальство было очень деликатно, усиленно приглашало нас пить чай и закусывать. Ни в чем нас не стесняло и старалось поддерживать общий разговор на какую-нибудь злобу дня, по возможности постороннюю тюрьме, словно все мы встретились на случайном вечере или каком-нибудь five o'clock... Не думается мне, чтоб мы были слишком деликатны в области этих общих разговоров; пожалуй, нам было не до них, ибо были у нас свои собственные интересы, которыми надо

было поделиться друг с другом, когда мы впервые свиделись без посторонних свидетелей после долгого промежутка времени. И этим разговорам не было конца, почему вся ночь пролетела для нас незаметно.

Уже под утро, когда стало довольно светло, мы попрощались с гостеприимными хозяевами и попарно в извощичьих каретах были перевезены на вокзал и под конвоем солдат помещены в арестантский вагон, довольно чистый, ничем не отличающийся от обычных вагонов III класса.

Бодро и весело начали мы свое путешествие. Нас было больше 20 человек, уже успевших близко познакомиться, чему много способствовало то, что все мы были известны друг другу, если не лично, то по наслышке. Конвоя мы не видали совсем; наш вагон, правда, был заперт, а наше начальство ехало в отдельном вагоне, смежном с нашим. Но и его мы видели пока только мельком.

Обрадованные относительной свободой, избавившись от тягостной одиночки, все мы были настроены по праздничному, и в разговорах друг с другом время катилось для нас незаметно, несмотря на проведенную абсолютно без сна ночь. Вот уже окончены все маневры наших вагонов, и мы уже на полном пути к Москве. Но мы не замечаем ни станций, ни остановок, да они и не интересны для нас, так как выйти из вагонов мы все равно не можем. Вот почему я и не могу определить точно того момента, когда постигла нас наша первая путевая катастрофа. Приблизительно это было на

половине пути до Москвы, а быть может и много ближе к ней.

Неподалеку и наискосок от меня на двух коротких скамейках помещались М. А. Юшкова и ее муж Луговский. Они долго и мирно беседовали между собою, мало обращая внимания на окружающих. Это было так понятно: молодоженам только что, перед самой поездкой, перевенчавшимся и имевшим только официальные в тюрьме свидания в течение целого года, конечно, было о чем поговорить между собою; вот почему они держались несколько изолированно от других и почему другие охотно предоставляли им эту возможность. Вдруг до моего слуха с их стороны донесся странный звук, похожий на протяжный, заглушенный стон. Повернувшись в их сторону, я увидал искаженное судорогой лицо Луговского, с полузакрытыми закатившимися глазами. Испуганная Юшкова с криком кинулась к нему и начала делать ему искусственное дыхание как опытная фельдшерица, каковой она и была. Я в свою очередь бросился на помощь к ней, старался помочь чем мог, но у больного продолжались общие судороги тела, заглушенное, стерторозное дыхание при полной потере сознания. Сердце работало взволнованно, временами с нарушением ритма, но серьезными последствиями не угрожало. Мало-по-малу припадок стал ослабевать и постепенно разрешился глубоким сном на очень продолжительное время. Получилось впечатление эпилептического припадка, сходство с каковым подкрепля-

лось всем внешним его видом, не исключая и появления пены у рта. Но Луговский никогда не страдал эпилепсией и не имел на нее никаких указаний в своих антецедентах. Весь вагон взбудоражился первоначально, но, при виде успокаивающегося и особенно спокойно спящего больного, успокоился и сам.

Но не прошло и получаса после этого, как недалеко сидевший от меня Нагорный с пунктуальной точностью начал воспроизводить ту же картину, какую только что проделал Луговский. Те же закатившиеся глаза, та же судорога сперва лица, а потом и конечностей и всего тела, те же звуки заглушенного прерывистого дыхания со сжатыми крепко зубами и та же потеря сознания. Я бросился и к нему, так как сидевшие с ним товарищи, быть может никогда неимевшие дела с больными, оставили его одного. Как и у первого больного, припадок Нагорного скоро перешел в глубокий сон. Новые полчаса принесли нам новое повторение той же картины. На этот раз так же пунктуально, точно проделал ее Волошенко.

Вся наша публика пришла в волнение. Высказывалась мысль о заразе; да и на самом деле ничем, кроме психической, нервной заразы, на первый раз нельзя было объяснить подобное повторение припадков у разных лиц, никогда раньше не страдавших чем-либо похожим на такую форму заболевания! Призвали начальство, конвой и совместно обсуждали создавшееся положение. Решено было

поискать в поезде, при котором шли наши вагоны, какого-нибудь врача, чтоб помочь больным, сколько было можно, до приезда в Москву, где уже надлежало серьезно приступить к лечению и выяснению этиологических причин данного явления. Пока же мысль о психической заразе больше всего сосредоточивала на себе внимание окружающих, и дальнейшее могло только подкрепить это предположение.

Теперь и я чувствовал себя не важно. Не то, чтоб я ощущал какое-либо болезненное состояние, но просто я как бы предчувствовал приближение катастрофы и со мной... Продолжалось это ощущение один момент, за которым сейчас же почувствовалась какая-то волна неопределенного ощущения, прилив чего-то невыразимо тятостного, как легкое дуновение ветерка, подступающего как бы со всего организма к горлу, к голове, к мозгу... и я потерял сознание... Разумеется и мой припадок был точной копией предыдущих и так же, как они, разрешился глубоким сном. Но мне кажется, что у меня он сопровождался некоторыми особенностями, что и побуждает меня остановиться на этом описании несколько подробнее.

Мой глубокий сон после припадка видимо продолжался довольно долго, ибо сознание вернулось ко мне при очень странных условиях, уже в Москве. В том пассажирском поезде, к которому были прицеплены наши вагоны, а может быть и в другом, но одновременном, ехали родственники моей жены, желавшие проводить нас, сколько возможно, в наше

далекое путешествие. Благодаря редкой гуманности начальника нашего поезда, полковника Мациевского (о нем я подробнее расскажу позже), они имели с нами продолжительные свидания повсюду, где это было возможно. В Москве, где поезд наш стоял довольно долго на запасных путях, Мациевский впустил наших родных для свидания с нами в одно из отделений нашего, или какого-либо другого соседнего пустого вагона. Как это все произошло, какими перипетиями сопровождалось, мне это осталось неизвестным. Я все еще был в бессознательном состоянии и впервые пришел в себя при след. обстановке: я сижу рядом с женой — Розой и держу в руке персик, который однакоже не ем; мы окружены родными Розы, здесь ее старушка мать, брат В. Л. и сестра Е. Л.; здесь же несколько наших близких друзей. Я оглядываюсь с удивлением, так как зрительные впечатления я только что начал воспринимать, хотя вероятно сидел здесь перед тем с открытыми глазами, без чего, вряд-ли мог попасть в эту обстановку. Вокруг меня продолжается разговор, начатый ранее, откуда мне ясно, что я сижу здесь не первый момент. Ко мне обращаются с вопросами; я их отлично понимаю, но не могу на них отвечать — ко мне еще не вернулась способность речи, пока я еще без языка. Мать настаивает на том, чтоб мне дали супу; я отрицательно качаю головой, но суп приносят и я, уступая общему желанию, пытаюсь проглотить ложку супа, который в тарелке держит Роза, но мне стоит это

больших усилий. Так тянется несколько мучительных минут, когда я пытаюсь безуспешно овладеть моими органами чувств и движения. Но в то же время во мне повторяются уже знакомые ощущения приближающегося припадка — опять то же чувство зарождающейся где-то в организме неопределенной волны, как бы дуновения в направлении к мозгу... и, уверенный в повторении припадка, не будучи в состоянии произнести ни единого слова, но страстно желая избавить от неприятного зрелища наших дорогих собеседников, я делаю над собой неимоверное усилие, встаю и быстрой, но колеблющейся походкой направляюсь к выходу из вагона. На вопросы: куда? зачем? я не имею силы отвечать; я спешу выйти из вагона, но успеваю достичь только выходной двери, как волна, лишающая меня сознания, уже подходит к моему мозгу, судорога тела поворачивает меня несколько в сторону и я с глухим, ясно мной самим сознаваемым стоном, падаю на руки В. Л-ча, снова потеряв сознание.

Я очнулся на свежем воздухе, лежа на траве, вблизи наших вагонов, прикрытый своим халатом. Роза, оказавшаяся подле меня, пояснила мне, что по распоряжению приглашенных врачей всех заболевших решили вынести на свежий воздух и здесь дать им отдохнуть до отхода поезда. Я взглянул кругом себя и успел увидать пять или шесть таких же, как я трупов, лежащих на земле. Вслед за этим я вновь впал в бессознательное состояние или в очень глубокий сон — для меня решить это

было затруднительно, так как переход мой снова в вагон и начало дальнейшего нашего пути ускользнуло от моего сознания. Вновь и окончательно я очнулся уже, когда мы приближались к Нижн.-Новгороду и опять около себя, как ангела-хранителя, я почувствовал и увидал обеспокоенное милое лицо Розы...

Из всех мужчин, составлявших нашу партию, эта болезнь пощадила только одного Златопольского; ни одна женщина также не заболевала этими припадками; зато у всех остальных припадки повторялись от двух до пяти раз с различной степенью интенсивности, в зависимости от силы их предшествовавшего утомления и истощения. Врачебные консультации над заболевшими были очень поверхностны, точной этиологии и диагноза установлено не было; разнообразные мнения сходились, как на причинах болезни, на истощении, бессоннице, чрезмерно сильном возбуждении; не исключалось и влияние нервно-психической заразы; что же касается диагноза заболевания, то кроме само собой ясного определения, как заболевания нервного характера, никто из врачей не рискнул определить его точнее. Быть может, при более глубоком изучении специалистами этого явления, они нашли бы в нем признаки истерии, а приняв во внимание по возможности все условия предшествовавшей жизни пациентов в одиночном заключении, быть может, они смогли бы дать этой форме временного заболевания и какое-либо соответственное название.

Да простит мне читатель это длинное и слишком специально патологическое описание постигшей нас в пути на первых же порах неприятности, но мне представляется не безынтересным детальное описание этого заболевания человеком, непосредственно перенесшем его на самом себе. Чтоб покончить с этим эпизодом окончательно, я должен прибавить, что некоторая степень нервного недомогания или психического угнетения, как прямой результат этой болезни, удерживалась в моем организме по крайней мере в течении еще целого месяца.

2. Волга и Кама.

Так мы доехали до Н.-Новгорода, где нам предстояла пересадка на арестантскую баржу, чтобы доплыть на ней за пароходом до Перьми. Это была обыкновенная небольшая баржа с маленькими каютами на носу и на корме для начальства и конвоя, и с трюмом для нас. Средина палубы между каютами, отделенная от бортов сплошной частой решеткой, представляла из себя ограниченное пространство, куда выпускали нас из трюмов подышать свежим речным воздухом, время от времени, в виде прогулок.

Как отчетливо ясно, как живо, словно сейчас перед моими глазами стоит бледное, печальное, но и спокойное лицо старушки, провожающей свою любимую дочь в это далекое, неведомое путешествие! Это мать Розы, не оставляющая нас своими попечениями с начала нашего процесса вплоть до этого пункта, дальше которого она уже не имела сил и возможности сопровождать нас. Сколько нежного чувства, сколько энергии и предусмотрительности

было вложено в ее заботы, чтобы облегчить, сколько возможно, предстоящие годы испытаний и невзгод. Невольно приходит в голову мысль о несоответствии всей тяжести ощущений, падающих на долю молодежи, убежденно кидающейся в пучину самопожертвования, и родителей этой молодежи, страдающих и за себя и за нее.

Кажется никогда не смогу забыть это печальное лицо бедной матери, стоящей на берегу и тревожным взглядом провожающей медленно отплывающую баржу. Пространство между берегом и баржей все больше и больше увеличивается, линии и контуры лиц все больше сглаживаются, туман все увеличивающейся дали больше и больше окутывает милые лица, пока, наконец, все ни сливается в одно общее пятно, где нельзя уже отличить отдельную человеческую фигуру. Отъезд совершился, можно вернуться к обычным интересам дня, поскольку они у нас уже установились, но только что пережитая картина разлуки еще долго будет стоять перед нашими глазами и не забудется во всю предстоящую жизнь.

Спокойно, бесшумно плывет баржа по волнам великой реки, мы прислушиваемся к тихому плеску воды, разбиваемой ее носом, и любуемся причудливыми берегами Волги и особенно Камы из окон нашего трюма, а изредка, во время прогулок, и через решетку по бортам баржи. Мне хорошо была знакома эта дорога, я не раз проделал ее в период своего студенчества, но большинство моих

спутников видят ее впервые. Первый поволжский плес, от Нижнего до впадения Камы, пониже Казани, с его низменными, подчас унылыми берегами, но с широким водяным простором, все же мало останавливает на себе внимание путников, но красавица Кама, по мере приближения к Перми, все больше и больше привлекает к себе наши взоры, утомленные до этого времени лишь продолжительным созерцанием серых стен тюрьмы.

Но пора познакомиться как с составом нашей партии, так и с нашим начальством. Последнее сосредоточилось для нас в лице гвардейского полковника Мациевского. Не ведаю, каким образом попал он в коменданты нашей партии: назначен ли он был от военного ведомства, или задумал перейти в корпус жандармов и, прежде чем одеть синий мундир, получил, в виде пробного испытания, эту командировку—не знаю. Во всяком случае, этот добродушный человек не очень охотно брался за свое дело, и, как выяснилось скоро, очень боялся, предполагая в нас встретить людей, потерявших всякий человеческий образ, отпетых злодеев, каторжников чистой воды.—Жена провожала его с плачем и рыданиями, как заранее обреченного на смерть; ведь вести большую партию политических каторжан, убийц, злодеев и даже цареубийц, в ее глазах было равносильно собственной погибели, так казалась ей неизбежна катастрофа при первом же столкновении с нами. Только крайняя материальная нужда толкала нашего полковника на

эту хорошо оплачиваемую командировку. Он должен был провести нас от Петербурга до Томска и там сдать всю партию местному начальству. Но первое же знакомство с нашими представителями показало ему всю ошибочность его предположений. А ознакомление это по необходимости началось с первых же моментов после отъезда из Петербурга. Естественно, возникало много вопросов, касающихся чисто-внешней стороны жизни нашей партии: вопросы хозяйства, расходованья денег, переписки с родными и прочее и прочее—не могли быть разрешены без непосредственного участия нашего полковника. Нашими делегатами в большинстве были наши дамы; они лучше умели разговаривать с начальством, да и последнее, конечно, было всегда мягче с женщинами, чем с нашим братом. Притом мы, хорошо сознавая ограниченность наших прерогатив, не могли и не хотели быть требовательными и довольствовались лишь справедливым удовлетворением наших желаний и потребностей. На это полковник шел охотнее и охотнее, по мере того как убеждался, что имеет дело в нашем лице с обыкновенными интеллигентными людьми, не имеющими даже отдаленного сходства с той характеристикой, какую составила себе о нас его супруга. Кончилось тем, что со многими из нас под конец пути полковник был прямо в дружеских отношениях, старался быть нам полезным во всех возможных случаях, вплоть до исполнения наших интимных поручений невинного свойства и при-

знался, что в конце концов написал своей жене, до какой степени они оба ошибались в нашей оценке и что теперь, ознакомившись со своей партией, он всегда желал бы иметь общение только с людьми нашего класса и характера. Особенно импонировали полковнику наши женщины, в большинстве не лишенные светского опыта и умевшие внушать к себе и своим идеям высокую степень уважения. С ними он часто беседовал запросто и благодаря именно им, и конечно свойствам самого полковника, его мягкости, известной степени гуманности и беззлобию, у нас установились хорошие отношения с начальством, не нарушавшиеся за все время пути, если исключить один печальный случай, имевший место почти перед самым Томском, о котором я и упомяну в свое время.

Таково было наше начальство, от поведения которого в значительной степени зависело и самое спокойствие всей партии.—В другом месте, характеризуя состав подсудимых на нашем процессе, я указывал, что некоторыми своими качествами подсудимые, и особенно женщины, которых у нас был порядочный процент, на ряду с общей постановкой суда, возбуждали некоторую симпатию даже и у заматерелых власть имущих бюрократов[1]). Сейчас мне приходит в голову, не из чувства ли такой же симпатии к нашей партии, основой, главным контин-

---

[1]) „Былое“, 1906 г. № 11, „Процесс 17 лиц в 1883 г.“.

гентом которой являлись участники этого процесса, был назначен комендантом человек помягче и порассудительнее? Это возможно, ибо и не такие еще парадоксальные противоречия уживались в нашей бюрократии.

Что касается до состава нашей партии, то прежде всего необходимо заметить, что все без исключения члены нашей компании были далеки от тени какого бы то нибыло уныния и душевного угнетения. Конечно, контраст с предшествовавшим образом жизни был колоссален, удары, посыпавшиеся на наши головы, не были легки, но они никого не согнули и ничем не отразились на нашем душевном равновесии. Мы ехали с полной уверенностью, что испытания наши временны, что мы, выбитые из строя, уже заменены новыми силами, что возрождение родины близко... Правда, разочарования стали бить нас на первых же порах, но мы скоро справлялись с ними, и наша уверенность вырастала снова. Таким образом, вся наша последующая жизнь прошла под знаком надежды на лучшее будущее, без чего, конечно, и нельзя было бы существовать. А в то время, да и долго еще спустя, мы переживали момент не совсем увядшей свежести, мы были еще полны впечатлениями недавнего прошлого, еще далеки от грозных симптомов реакции, вскоре захватившей страну почти на четверть века. И мы ехали спокойно, и я сказал бы—радостно, довольные нашим общежитием и еще не вполне измученные тяжелыми лишениями.

Ядро нашей партии, как я сказал выше, составляли участники «процесса 17» 1883 г., а именно все, кроме 6 человек, приговоренных к смерти, помилованных после коронации Александра III, заключенных потом в Алексеевском равелине и Шлиссельбургской крепости и скоро там погибших. Остальные 11 человек этого процесса шли в нашей партии (Стефанович, Ивановская, Лисовская, Калюжный, Смирницкая, Корба, Борейша, Гринберг, Юшкова и мы с женой); к нам были присоединены кроме этого несколько участников предыдущих процессов, а именно: Лев Златопольский, Якимова, Лебедева, Мирский, Нагорный, Волошенко, Павел Орлов, Фомин.

Из всех перечисленных только что 16-ти каторжан нашей партии в живых к настоящему моменту, увы! осталось только пять человек! [1])

Из тумана моего прошлого ярко встают дорогие и незабвенные образы; они скрашивали наше существование в далеком прошлом; они освещали наш жизненный путь на пространстве всей дальнейшей жизни; они и сейчас своим примером самопожертвования как бы рассеивают сумрак настоящего... И мысль невольно и бессознательно обращается к этим светлым точкам, и нет сил обойти молчанием эти образы: так настойчиво и неотрывно гнездятся они в памяти... Татьяна Ивановна Лебе-

---

[1]) А именно: Ивановская, Корба, Фомин, Якимова и Прибылев и два поселенца — Борейша и Гринберг.

дева судилась по процессу «20» в 1882 г. Измученная, больная женщина, очевидно, была отправлена в Сибирь ввиду ее неизлечимой болезни, но своим присутствием среди нас, несмотря на свое болезненное состояние, Татьяна Ивановна действовала всегда ободряющим образом. Эта очень умная, образованная и необыкновенно сердечная женщина пользовалась всегда и всюду искренней любовью окружающих. И не даром: ее спокойное благоразумие, убежденность и безграничная преданность делу не только импонировали более молодым членам нашей компании, но возбуждали и одушевляли остальных и во всех нас поддерживали бодрость и уверенность в благе грядущего будущего. Вот у кого надо было учиться твердости духа и последовательности в действиях, несмотря на физическую слабость и тяжелую болезненность этой нежной организации!

Иннокентий Федорович Волошенко и Павел (Павлюк) Орлов, уже побывавшие на Каре и вывезенные оттуда в Петербург после волнений в тюрьме, сопровождавших массовый побег 1882 г., вновь возвращались на Кару и угодили в нашу партию. Волошенко, очень оригинальная, самобытная натура, к сожалению, с расшатанным уже тюрьмами здоровьем, по справедливости считался очень умным, способным к широкой инициативе человеком; отличаясь метким остроумием, находчивостью и, будучи хорошим рассказчиком, он за всю дорогу, вплоть до Красноярска, где мы должны

были с ним расстаться, занимал у нас первенствующее место желанного собеседника, особенно потому, что был много старше нас своим тюремным опытом. И впоследствии, на Каре, где нам долго пришлось прожить совместно, мне часто приходилось пользоваться его ценными указаниями по многим интересовавшим нас вопросам, приходилось участвовать, активно или нет, в теоретических или научных спорах, где Петро, как мы интимно называли Волошенко, никогда не оставался среди побежденных. В свое время в партии он занимал выдающуюся позицию, но ранний арест лишил его возможности проявить свои силы и недюжинные дарования более энергично и продуктивно, а партию лишил несомненно очень выдающейся силы.

А Павлюк Орлов, рано, чуть ли 17 л. попавший в тюрьму, умело воспользовался годами заключения, перечитал массу книг, усидчиво изучал науки и особенно философию и постепенно становился большим эрудитом. Поэт в душе и отчасти на деле, он обладал спокойным нравом, всегда ровным настроением и был одним из самых интересных собеседников как во время нашего пути, так и впоследствии на Каре. Выйдя затем на поселение в Якутскую область, он, как говорят, один из первых начал пропаганду изучения местной жизни и широкого исследования необъятного якутского края и даже практически приступил к коекаким геологическим работам.

Осип Нагорный, молодой студент, осужденный за организацию убийства шпиона Прейма, очень сдержанный и корректный, прекрасный товарищ, доказавший это многими годами совместной с нами жизни. Он не обладал выдающимися способностями, но был всегда на месте, если брался за какое-либо дело и в практической жизни оказался прекрасным дельцом и организатором.

Иван Васильевич Калюжный — нервный, подвижной, симпатичнейший человек — он являлся всегда душой всякого общества и своим добрым нравом умел разгонять самые мрачные тучи, нависавшие иногда, в условиях нашего передвижения, и над людьми, не склонными к беспричинной тоске. Очень способный, очень деятельный, хороший языковед, он не терял даром времени и в дороге, читал, что мог добыть, в промежутках между остроумными и веселыми собеседованиями. Его жена—Смирницкая по своему характеру была его прямой противоположностью. — Это была натура сосредоточенная, молчаливая, но в высшей степени добрая, отзывчивая и решительная. Оба вместе они были чистыми альтруистами, лишенными тени какого-либо эгоизма.

Леон Филиппович Мирский, просидевший несколько лет в равелине, был неисчерпаемым источником рассказов, как из жизни этой крайне суровой и изолированной тюрьмы, так и из последнего периода его жизни на воле. 13 марта 1879 г. он стрелял в шефа жандармов Дрентельна, подъехав верхом на лошади к его карете. Покушение было

неудачно, и Дрентельн попытался догнать умчавшегося Мирского, опрашивая постовых городовых по пути всадника. Так он, наконец, добрался до городового, который держал под узцы лошадь Мирского. Уверенный, что последний уже пойман, шеф жандармов спросил городового — где преступник? — Ничего не понимающий городовой объяснил, что какой-то молодой барин дал подержать ему разгорячившуюся лошадь, пока не придет его кучер, а сам уехал на извощике. «Дурак!» — коротко бросил генерал и продолжал свой путь. Молва говорила тогда, что Мирский упал с лошади и ушиб себе ногу. Результатом этой молвы было то, что на другой день тогдашний градоначальник поарестовал немало хромых людей, среди которых однако же не оказалось ни одного Мирского. Подлинный Мирский был арестован в том же году в Таганроге, оказал вооруженное сопротивление, затем судился и до сих пор отсиживал в Алексеевском равелине.

Был с нами и еще один каторжанин — Алексей Фомин — бывший офицер, судившийся отдельно военным судом в том же 1883 г. Это не тот Алексей Фомин-Медведев, прибывший к нам на Кару много спустя, года через два после описываемого мною времени и о котором рассказывал Вл. Гал. Короленко, при описании пребывания в Тобольской тюрьме.

Какая разнообразная, страшная и тяжелая судьба постигла в конце-концов почти всех указанных лиц! Т. Ив. Лебедева, так же, как и Антонина

Лисовская, умерла от туберкулеза, вскоре по приезде на Кару; П. Орлов скоро вышел на поселение и при поездке из одного наслега Якутской области в г. Якутск был принят разбойниками за какого-то богатого купца, крепко насолившего населению, и убит ими. Волошенко при всей своей болезненности дотянул до наших первых «свобод», пережил конституцию 1905 г., принимал посильное участие в движении этих лет и умер в больнице в г. Полтаве, оставив много, пока еще не разобранных, но, надо думать, ценных воспоминаний и бумаг. Мирский, окончив годы каторги, жил на поселении в Верхнеудинске, где и захватило его движение 1905 и 6-го годов, когда он попал под тяжелую руку Рененкампфа и его карательной экспедиции. За литературную деятельность в местной газете он был приговорен к смертной казни (2-й раз), затем был помилован, попал вновь на каторгу, которую и отбыл вторично. Февральская революция, как и всех других, освобождала его совершенно, так сказать переводила в первобытное состояние, но он оказался уже настолько старым, слабым и больным, что вынужден был остаться на месте и одиноко, бесполезно доживал свои последние безрадостные дни в г. Верхнеудинске, где и умер.

Но трагичнее всего была судьба моего милого сопроцессника, жизнерадостного, веселого и так мало думающего о себе Ванички Калюжного. Вместе со своей сестрой—молодой несчастной девушкой—и женою Смирницкой — они смертью своей запе-



чатлели протест против грубого насилия над беззащитными людьми, закончившегося позорным наказанием Сигиды.

Но мимо, мимо этих тяжелых картин, и сейчас еще, не взирая на переживаемые в данный момент катастрофические ужасы нашей великой революции, поднимающих наши седые уже волосы!..

Кроме каторжан, в нашей партии еще из Петербурга вышло несколько человек административных; это были — премилый, юный студент А. Л. Блек, муж М. А. Юшковой — Луговский, учитель гимназии из Гельсингфорса П. А. Сикорский и кое-кто еще, имена которых я теперь уже не припоминаю. — Начиная с Москвы, к нам присоединили большую партию административно ссылаемых южан из Киева и Одессы, среди которых помню Гортынского, Урусова, Дзивалтовского-Гинтовт, Поляка и др. Последний — Поляк, — шпион или предатель с юга, был под бойкотом своей партии и производил тяжелое впечатление. Вечно в стороне, всегда одинокий, он сидел, как затравленный зверек, зло посматривая на окружающих и как-будто каждую минуту ожидая нападения. В конечном счете все перестали обращать на него внимание, и постепенно он вполне вышел из поля нашего наблюдения. Все же он продолжал с нами путь вплоть до Енисейской губернии.

А наша баржа плывет, подвигается вперед, неуклонно, как само время, несет, приближает нас к неведомому будущему...

Берега Камы красивы как всегда, ее чистые волны отражают ясный небосвод, впереди виднеются жилые постройки — начало большого города, — это — Пермь, где нам предстоит пересадка на железную дорогу.

---

3. На родине.

Мы в Перми. Самого города мы не видали, так как с пароходной пристани конвой отвел нас прямо на вокзал и усадил в готовые, уже ожидавшие нас вагоны. Но мне знакомо здесь все, недаром часть своих гимназических лет я провел в этом городе.

Нам предстоит сделать последний железнодорожный путь, в 400 с лишним верст, от Перьми до Екатеринбурга, откуда мы поедем уже на лошадях, или пойдем пешком — пока это нам неизвестно.

Во время нашей посадки в вагоны передо мною мелькают знакомые лица, кое-кто из них рискует со мною раскланяться, а кто-то решил даже и близко подойти ко мне и сообщить, что на одной из станций со мной попытается повидаться мой брат. Этого однакож не случилось по причинам, от нас независящим, но встреча знакомых лиц, своим видом ясно выражавших интерес и несомненное сочувствие нам, не могла не волновать меня, в этих необычных условиях попавшего на родину.

Поезд двинулся, и перед нашими глазами замелькали поля, вековые леса, горы, долины и станция за станцией. Вспоминаю, как на одной остановке, при скрещении поездов, наш вагон остановился как-раз против вагона II класса встречного нам поезда. Я стоял у окна. Вдруг вижу на площадке вагона II класса своего старого студенческого товарища. Он стоял рядом с очень пожилым, необыкновенно интеллигентного типа господином и не мог скрыть от него своего движения не то удовольствия, не то изумления от неожиданности, когда в окне напротив увидал и узнал меня. Его сосед, видимо, обратился к нему за разъяснением представшей его глазам картины и, как только получил таковое, немедленно и чрезвычайно почтительно снял шляпу и отвесил мне глубокий поклон. Я, разумеется, тоже был взволнован неожиданной встречей, а от поклона мне неведомого человека совсем растерялся. Я тоже снял свою арестантскую фуражку и своей бритой на половину головой еще больше обнаружил явную свою принадлежность к определенной категории людей...

Время шло, поезд двигался, и мы уже подъезжали к Екатеринбургу. Знакомый, красивый городок, но пока мы могли видеть только его отдаленную окраину. Оказалось, что на вокзале уже приготовлены для нас лошади, и нас без промедления начали рассаживать по почтовым тарантасам. Пока это происходило, нам с женою дали короткое свидание с двумя моими родственниками, жившими

здесь. Они упросили полковника Мациевского разрешить повидаться с нами, хотя бы в вагоне, так как при спешности нашей отправки они рисковали и вовсе не увидать нас. Короткое свидание, когда, торопясь, не успеваешь установить сколько-нибудь правильный обмен мыслями, не удовлетворило ни ту, ни другую сторону. Не успели мы обменяться приветствиями, как нас позвали уже усаживаться в тарантас.

Простая почтовая кибитка, запряженная тройкой лошадей, с ямщиком и неизбежным жандармом на козлах, была готова к нашим услугам, как и целый ряд других для всей нашей партии. Весь наш кортеж, с отдельными экипажами для полковника— во главе, и для конвоя—в хвосте его, двинулся в путь полным аллюром привычных к гоньбе лошадей. Быстро промелькнули перед моими глазами знакомые улицы и дома, быстро промчались мы мимо квартиры моих родных, высыпавших на балкон и приветствовавших нас, и мы уже за городом, на широком просторе зауральских степей.

Наша кибитка была предназначена для трех седоков. В нее посадили меня, Розу и Дзивалтовского-Гинтовта. Кое-как в ней был уложен наш багаж и, благодаря его незначительности, сидеть нам было просторно. Любуясь красивыми видами дороги, беседуя о разных разностях, и обмениваясь впечатлениями, мы незаметно проезжали станцию за станцией. Между прочим, припоминаю рассказ Гинтовта, как он потерпел крушение на Средиземном море,

проезжая в Марсель, и три дня плавал по воле волн, держась за обломок мачты своего погибшего парохода, пока не был подобран моряками итальянцами. Усталый, изнемогающий от холода и голода, он призывал уже смерть на свою голову, но ему суждено было оправиться от страданий для того, чтобы через некоторый промежуток времени пойти в ссылку в Сибирь...

Наши тройки мчались, этап за этапом оставались позади нас, и мы быстро приближались к моему родному городу Камышлову. Два последних этапа перед ним, где происходила смена наших лошадей, были мне знакомы раньше — я посещал их из любознательности. На этот раз они, в виду приема таких гостей, как мы, были украшены зелеными сосновыми ветками, что, в связи с недавно вымытыми полами и нарами, производило впечатление чистоты и свежего аромата. Этапные офицеры, обычно маленькие царьки в своих маленьких владениях, на этот раз, перед лицом нашего полковника, утрачивали все свое значение и являлись небольше, как исполнителями его велений. Один из них, по старому знакомству со мною, радушно меня приветствовал и предупредил об ожидавшем меня свидании с родными в городе.

Вот и мой родной маленький городок! Здесь моя семья прожила беспрерывно много больше 30 лет, здесь я родился и вырос, здесь я знал каждый закоулок и каждого жителя, в свою очередь знавшего и меня. Сколько детских и юношеских вос-

поминаний пробуждает во мне каждый дом, каждая улица, мимо которых я сейчас проезжаю! Бывало, каждый раз еще при жизни отца, после сколько-нибудь продолжительного отсутствия из дома, я подъезжал к этому городку с радостным замиранием сердца; и я спешил в родную семью, к родным людям, чтобы как можно скорее войти в курс их жизни, разделить с ними и горе и радость. То было в период моей свободной жизни... Насколько же преувеличенно должны были овладеть мною те же ощущения теперь, когда я еду всего только мимо этого города, вижу его на один миг и, быть может, вижу в последний раз! Я стараюсь запечатлеть в своей памяти каждую мелочь, каждую знакомую уже мне отличительную его черточку, чтобы по крайней мере надолго сохранитъ в себе образы родного уголка.

Вот мы взбираемся на небольшую горку, являющуюся пограничной чертой города, -чтобы сразу очутиться на площади единственной в нем церкви— городского собора; вот старое полуразвалившееся здание «кордегардии»—полутюрьмы, гда в давние, давние годы, временно содержались провозимые в Сибирь польские повстанцы 63 года и удивляли нас, мальчуганов, стройным пением польских революционных песен; вот, наконец, наш старый дом, где протекло все мое детство, где пережиты мои первые радости и первые огорчения. Когда-то этот старый дом был полон нашего детского шума, потом юношеских собраний, совместных чтений и

споров, кристаллизовавших наши взгляды, наше миропонимание... Теперь же из его окон выглядывают чужие, посторонние мне лица... Когда-то, с самого раннего детства, отсюда мы привыкли видеть, как ежедневно проезжали вереницы особых экипажей-линеек с плотно сидящими по бокам их седоками; это—арестанты, «несчастненькие», с испитыми, истощенными лицами, в серых однообразных костюмах, чаще с цепями на ногах; такие партии «фарфозных», — по местному выражению, — ежедневно и неизменно в определенный час провозились мимо нашего дома сперва к тюрьме, а оттуда дальше в Сибирь, на каторгу—«вдоль по Владимирке!»

Думалось ли мне когда-нибудь раньше, что и я могу попасть в число почти таких же «фарфозных?» отрицать это я, пожалуй, не стал бы...

Недалеко отсюда, за углом, находится тюрьма, где мы должны переночевать. Перед ее воротами, к нашему величайшему удивлению, стоит большая толпа разного рода людей, чуть не половина города, собравшаяся здесь, чтобы встретить нашу партию. Камышлов в описываемое время насчитывал всего лишь две тысячи жителей, из которых несколько сот падало еще на цыган, обитающих в особой части города, носящей название—«Пауты». Понятно, стало быть, что известие о прибытии нашей партии, полученное моими родными, быстро разнеслось по городу и собрало сюда толпу любопытствующих. Я видел среди них много знакомых лиц; тут были мои сверстники, товарищи по школе,

по играм, былые друзья и былые враги; были тут люди из так называемого общества и, кажется, полный штат перебывавшей в нашей семье прислуги.—К сожалению, мы не могли долго любоваться этим зрелищем и не могли продлить удовольствия толпы понаблюдать за нами,—так как открытые ворота тюрьмы ожидали нас. Но передо мной стал вопрос: что же? только одно любопытство захудалого и не имеющего никаких внутренних интересов городишки собрало сюда эту толпу? Или тут сказалась известная степень сожаления или сочувствия, а быть может и некоторой гордости, что в числе борцов за правду и пострадавших за нее они видели и своего согражданина!.. Пожалуй, вернее всего предположить, что этой толпой руководила комбинация всех перечисленных элементов.

Широкий тюремный двор был разделен деревянной решеткой на две половины. В первой из них, ближайшей к воротам, на скамейке, против домика смотрителя тюрьмы, построенного здесь же во дворе, сидели мы с Розой, окруженные моими сестрами и братьями, еще оставшимися и жившими в этом городе. На другой половине двора, за решеткой, вся остальная наша партия хозяйничала, подкреплялась пищей и непринужденно беседовала между собой.

Мы же спокойно обменивались впечатлениями, осведомлялись о событиях минувшего года, который в сущности был вычеркнут из нашей жизни, и строили планы на ближайшее будущее. Постепенно

сумрачные лица моих родных при виде нашего спокойствия и бодрости разглаживались, а наша уверенность в близком и благополучном окончании наших испытаний, казалось, вселяла надежду и в сердца наших собеседников. Только моя маленькая 10-летняя племянница горько, горько разливалась слезами, так удручал ее мой необычный костюм... Так беседовали мы наедине в своей компании, а иногда при участии начальства — смотрителя тюрьмы и исправника города — моих старых знакомых, — пока не наступили сумерки. Тогда нас пригласили в квартиру смотрителя, где было приготовлено для нас обильное угощение. А когда пришло наконец время расстаться, мы получили много практических подарков, очень пригодившихся нам впоследствии, как, напр., теплые чулки, кашнэ и проч., и в заключение целую пачку рублей на мелкие дорожные расходы. Как я сказал, все это делалось в присутствии и с соизволения полицейского начальства; что же побуждало их быть столь снисходительными и доброжелательными? Конечно, здесь играло большую роль их частное знакомство с моими родственниками, но, я уверен, все же отчасти и их подкупала в нашу пользу чистота побуждений и бескорыстие наших задач, в чем они не имели основания сомневаться.

В тюрьме на ночевку нас разместили по нескольким камерам. Нам с Розой досталась маленькая комнатушка, очевидно камера одиночного заключения, о существовании которых здесь я и не по-

дозревал. Под влиянием только что минувших впечатлений и разговоров, трудно было рассчитывать на спокойный сон, но утомление брало свое, и по крайней мере половину ночи мы все же спали крепко. На утро, прежде чем отправиться в дальнейшую дорогу, я был вызван в общий тюремный коридор еще для одного короткого свидания. Пришла повидаться и, как она говорила,—снабдить меня своим благословением в дальнюю дорогу,—одна пожилая девушка—богомолка, часто бывавшая у моего отца—своего духовного отца—для благочестивых разговоров и страшно привязанная ко всей нашей семье. Это оригинальнейший тип безобидного, идеально чистого, всецело преданного своей идее—существа, характеристике которого должно бы было посвятить отдельное описание. «Дуня-грешница», как звали издавна все мою посетительницу, была действительно человеком не от мира сего: у нее уже не было никого родных, она никогда не имела собственного угла и жила то в одной, то в другой семье, где больше всего были нужны ее услуги; у нее не было никакого имущества, так как запасная пара белья и несколько божественного содержания книг укладывались легко в ее котомку; она не стяжательница, хотя за свою работу—чудной поварихи на торжественных обедах и вечерах, она охотно брала вознаграждение; и когда таких вознаграждений у нее скапливалось достаточно, она набивала свою котомку и отправлялась странствовать по святым местам, возвращаясь домой только

по израсходовании последней копейки. И так всю жизнь, не уклонившись ни одного раза в сторону от раз намеченной схемы жизни! Она была во всех святых местах России, была в Соловках, была и в Иерусалиме, и мечтала еще о многих других путешествиях. Она не вела никаких других разговоров кроме божественных, или на хозяйственную тему, во время своей работы; она никогда во всю свою жизнь никого не обидела, никому не причинила ни малейшего зла, хотя непрестанно называет себя «грешницей»... Я видел ее потом, через 25 лет после того, как она пришла ко мне на свидание перед нашим отъездом: она была такой же, какой я ее знал с детства, даже удивительно мало постаревшая, в том же черном платье и черной косынке, так же недавно явившаяся из далекого богомолья, и так же наивно зовущая себя «грешницей»... Удивительный тип сознательной и последовательной преданности идее!..

Снова почтовые кибитки, запряженные тройкой лошадей, и мы быстро мчимся от этапа к этапу, где за время перепряжек успеваем выпить чая и закусить. Мои две старшие сестры получили разрешение сопровождать нас некоторое время, и когда мы входили на этап они встречали нас там к большому нашему удовольствию, вместе с нами подкрепляли свои силы, разговаривали о чем попало, пока не приходило время попрощаться. Но они не выдерживали своего характера, вновь откладывали свое возвращение домой до следующего и

следующего этапа, и мы радовались, неожиданно встречая их таким образом при каждой нашей остановке.

Но должен был прийти конец и этому нашему общению: сестры вынуждены были наконец вернуться домой, а мы продолжали свой путь уже безостановочно до первого сибирского города — Тюмени.

Я знал, что где-то здесь, на границе Камышловского и Тюменского уездов, на большом почтовом тракте — Владимирка тож —, сооружен большой каменный столб, на манер обелиска, как указание на этом месте географической границы между Россией и Сибирью; такой же точно пограничный столб, между Европой и Азией, поставлен на Уральском хребте, верст за 40—50 перед Екатеринбургом, по Сибирскому тракту. Мне хотелось остановить внимание наших спутников на этом указании границы, и, подъехав к этому месту, мы остановили на минуту наши тройки и подошли поближе к столбу, на двух противоположных сторонах котораго были сделаны надписи: — Россия — на стороне, обращенной к пройденному нами уже пространству, и — Сибирь — в сторону нашего дальнейшего пути. Наш полковник Мациевский написал где-то на этом столбе свою фамилию, желая увековечить ее на этом многознаменательном месте. Никто из нас не пожелал последовать его примеру.

К вечеру следующего дня мы были уже в Тюмени, откуда на другой же день нам вновь пред-

стояло пересесть на арестантскую баржу и совершить длинный утомительный переезд по рр. Туре, Иртышу, Оби и Томи вплоть до самого города Томска.

Этот, если не ошибаюсь, двухнедельный однообразный путь не сопровождался для нас никакими особенностями, достойными того, чтоб их отметить. На одном только эпизоде следует остановиться на минуту.

За все время пути, начиная от Москвы, партия наша шла в одном и том же составе; только в Перми к нам присоединили одного административного ссыльного — Поддубенского, по болезни отставшего там от какой-то предыдущей партии политических. Этот Поддубенский, молчаливый, сосредоточенный и совершенно не общительный человек, был несомненно психически больным. Правда, в общежитии его болезнь ничем не сказывалась, кроме только что указанных симптомов, но что им овладела какая-то навязчивая идея, типа мании преследования, для нас было вполне ясно. Все же его тихое спокойное поведение, при полном отсутствии сколько-нибудь агрессивных выступлений, не вызывало и с нашей стороны никаких предосторожностей по отношению к нему. Кончилось тем, что в большинстве мы как бы забыли об его присутствии среди нас, просто перестали его замечать. Но в его болезненной психике, очевидно, возникла и постепенно выросла мысль о нападении на него мнимых врагов. Таковым в его глазах прежде всего являлся наш комендант полк. Мациевский, кото-

рому он ни с того ни с сего, без всякого повода со стороны последнего, и нанес «оскорбление действием».

Мы были справедливо возмущены, тем больше, что Поддубенский никому из нас не пожелал выяснить причин его нелепого поступка, а Мациевский был огорчен до глубины души и горько жаловался нам, предвидя печальные последствия этого инцидента. Но к общему благополучию таковых не произошло, как это будет видно из последующего.

Инцидент этот имел место на пути от Тобольска к Томску, когда мы ехали уже по Оби, следовательно почти в самом конце нашего совместного с Мациевским путешествия, так как в Томске он должен был сдать нашу партию местному губернскому начальству.

Что сталось с Поддубенским для нас осталось неизвестным, так как по приезде в Томск он тотчас же был от нас уведен и помещен в больницу. Во всяком случае мы имели основание быть вполне уверенными, что по поводу описанного инцидента никаких репрессий для него не последовало.

---

4. Томск. — Первый этапный сибирский путь.

Наша баржа остановилась на пристани р. Томи, в 7 верстах от города Томска. Здесь происходила наша сдача томскому конвою, который должен был препроводить нас в тюрьму. На первых же порах, мы почувствовали, что граница Сибири нами перейдена. Это сказывалось во всех мелочах отношения к нам и нового конвоя, и самой администрации: не было того предупредительного и вежливого отношения, что было отличительной чертой всего нашего путешествия по России; но пока мы не замечали еще ни грубости, ни недоброжелательства поставленных над нами сибирских чинов, какого могли бы ожидать от них мы,—в их глазах — простые арестанты, имеющие в виду лишь одну цель — обмануть, провести начальство, убежать. — Не было принято во внимание ни наше слабое здоровье, ни силы, подорванные продолжительным заключением, а смотрели на нас просто как на людей в большинстве здоровых и молодых

и, стало быть, могущих обойтись без особенных попечений.

Началось с того, что семь верст, отделяющих нас от города, мы должны были пройти пешком, стиснутые в небольшую кучку конвоем и постоянно им подталкиваемые. Хорошо еще, что мы добились подводы для нашего багажа, который иначе пришлось бы нести на своих плечах. Этим мы были обязаны заступничеству полковника Мациевского и это была его последняя услуга для нас.

Как бы то ни было, до Томска мы дошли благополучно, прошли главную улицу и были сданы в особую тюрьму, именуемую «содержающей» в отличие от «пересыльной». Эта тюрьма находилась почти рядом со строющимся зданием будущего первого Сибирского университета. Нас разместили свободно в двух больших камерах по нижнему корридору, мужчин отдельно от женщин, что не представляло для нас никакого неудобства ввиду того, что камеры эти никогда не запирались. Да и самый корридор запирался только на ночь, благодаря чему днем мы могли выходить на двор тюрьмы, впервые знакомиться с представителями уголовной ссылки, вечно здесь фланирующими, и через них сноситься с нашими томскими товарищами—заключенными и на воле.

Так, мы узнали, что в той же тюрьме сидят лица, привлеченные к дознанию по «Красному Кресту», организованному Богдановичем, для помощи ссыльным, для их побегов и т. д. Между

ними помню имена Юферова, Ярошинского; завести сношения с ними было даже необходимо кое-кому из нас, напр., Калюжному, принимавшему участие в этой организации в качестве помощника Богдановича.

Мы прожили в этой тюрьме две недели, без каких-либо инцидентов. Наш состав к этому времени несколько изменился; в Тобольске остались те, кто был поселен в Западной Сибири и, в частности, в Тобольской губ. Это были несколько человек административных, в числе которых был и Луговский и М. А. Юшкова, осужденная на поселение; с нею мы простились очень трогательно.

В свое время я упустил из виду указать, что из Петербурга с нами был отправлен пожилой уже рабочий, латыш или эстонец. Вначале он растеряно уселся в углу вагона, боязливо озирался кругом, как бы боясь внезапного нападения со стороны незнакомого каторжного люда, и долго не мог прийти в себя. Он был так хорошо наслышан об уголовных партиях, что не столько боялся ссылки, сколько долгого пути до нее. Пришлось много потратить усилий, чтобы его успокоить и уверить, что он попал не в уголовную партию, тем больше, что он ни слова не говорил по-русски и объясняться с ним надо было по-немецки. Этот латыш или эстонец также оставлен был в Тобольской губ.

Но и теперь, когда мое внимание останавливается на этом персонаже, я вспоминаю рассказы об одном почтенном хане из сартов, за участие

в каком-то восстании в центральной Азии, попавшем в политическую каторжную тюрьму на Каре[1]). Ни слова не понимая по-русски, страшно боясь русских каторжников и, думая, что попал в их среду, наш хан — почти детская, непосредственная и простая, несложная натура, — долго жил изолированной жизнью среди общей камеры, избегал не только общения с нею, но и сторонился от общей пищи, почти голодая. Так проходили месяцы, годы; он знакомился с русским языком, начинал сам объясняться, убеждался все больше и больше в деликатности своих подневольных сожителей и, что было ему особенно ценно, — мог свободно отправлять ритуал своей религии, не только не вызывая насмешек, а, наоборот, чувствуя в высшей степени почтительное и уважительное отношение к своей вере. Хан кончил тем, что стал ближайшим, милым другом своих сокамерников; со всей силой своей непосредственности он полюбил своих товарищей, много говорил им о своей вольной азиатской жизни, считал их своими близкими, заменившими ему родных, детей и братьев, с которыми его разделила его злая судьба. Но тоска по родине съела этого сына степей, а злая чахотка скоро вырвала его из жизни. И он умирал с улыбкой на лице истинного фаталиста и со слезами на глазах, слезами благодарности тюрьме, приютившей его на старости лет...

---

[1]) Атанедсе Хан Магомед, осужден за агитацию против русского владычества на 12 л. каторги в 1879 г.

В период нашего пребывания в томской «содержающей», нас посетил томский губернатор Красовский,—имевший, повидимому, две цели: ознакомиться с нашим составом и предупредить о способе нашего дальнейшего передвижения—во-первых, и произвести небольшое следствие об инциденте между Поддубенским и Мациевским, во-вторых.

И в том и в другом отношении он, кажется, остался доволен; из беседы с нами он убедился, что мы не предъявляем никаких преувеличенных требований, а что касается столкновения Поддубенского с Мациевским, то мы употребили всю силу убеждения, доказывая, что со стороны нашего полковника не было ни малейшего повода не только для оскорбления его с чьей бы то ни было стороны, но и для простого недовольства им за все время нашего пути, и что все это дело следует отнести на психоз, овладевший бедным Поддубенским. Повидимому весь инцидент этим и закончился и не имел ни для кого никаких дурных последствий.

Давно уже, еще со времени выезда из Н.-Новгорода, наша партия сконструировалась в хозяйственном отношении. Стефанович был выбран нашим старостой, у него сосредоточились все наши денежные средства, он, выбрав себе соответственных помощников, закупал все необходимые для нас пищевые продукты, кормил нас всех и никто больше ни о чем не заботился. Все делилось между нами сообразно потребностям каждого и, сколько помню, никогда не возникало никаких неудовольствий, споров или недоразумений.

Так, в той же самой артельной организации, мы двинулись и в дальнейший путь. Теперь наша партия состояла немного более чем из 30 человек, и мы двинулись из Томска со специальным конвоем до Красноярска.

Это путешествие продолжалось ровно месяц и не обошлось без кое-каких инцидентов, то трагического, то подчас комического свойства. Так, уже в самом Томске, при переходе из «содержающей» в «пересыльную» тюрьму для дальнейшей отправки, произошел случай, который при других условиях мог бы окончиться печально. Час нашего выхода из тюрьмы каким-то образом дошел до сведения товарищей-ссыльных, живущих в самом городе, и они не хотели лишить себя удовольствия проводить нас в далекое путешествие. И вот, при выходе из тюрьмы, мы увидали скромно стоящих на тротуарах человек 10 томских ссыльных с посильными приношениями, «гостинцами», в руках. Кое-что из этих приношений тотчас же, после соответственного осмотра, и было передано в наши руки благоразумной частью нашего конвоя, но одна корзина с кедровыми шишками, почему-то не понравилась конному конвоиру, и он, грубо вырвав ее из рук дамы, желавшей нас порадовать свежими кедровыми орехами, поднял корзину и опрокинул ее на виду всех присутствующих. Этот бессмысленный поступок возмутил всех нас и больше всего веселого, подвижного, ловкого и легко, как порох вспыхиваю щего, Ваничку Колюжного; он поднял подкатив-

шуюся к его ногам увесистую шишку и бросил ее в виновника потери нашего угощения, так изловчившись, что попал ею прямо в его физиономию. Последовал шум и крик как со стороны нашей и провожающих нас, идущих на почтительном от нас расстоянии, так и со стороны конвоя. Готова была вспыхнуть схватка, был бы целый бунт, могущий дурно окончиться для многих из нас, но благоразумие старшего офицера конвоя взяло верх, и решение происшедшего он предоставил губернатору, который был вызван в пересыльную тюрьму ко времени нашей отправки в путь. А довольно длинное путешествие по улицам города успело охладить пыл даже самых горячих представителей нашей партии. Губернатор Красовский, повидимому, человек очень гуманный и легко разбирающийся в такого рода столкновениях, принял все наши резоны, обещал дать соответственную инструкцию нашему конвою в пути, и инцидент, таким образом, был исчерпан.

Начали мы это первое этапное путешествие вместе с небольшой партией уголовных арестантов, но были от нее все же несколько изолированы. Как привилегированным (тогда еще были такие!) и особенно как больным, нам было предоставлено несколько подвод, гораздо больше, чем уголовным; на этапах, по особой инструкции, мы должны были помещаться в отдельных камерах, не смешиваясь с уголовными; наконец, самое отношение к нам конвойных было иное, чем к ним, что вызывалось

уже не инструкциями, а примером видимого отношения к нам офицерства—с одной стороны, и тем, что сам конвой как-то усматривал в нас кое-что от «белой кости»—с другой.

Нас сопровождал специальный конвой от Томска до Красноярска, по одному солдату на каждого из нас, и он подкреплялся еще от этапа до этапа новыми этапными конвоирами, иногда с офицером во главе, имевшими в виду общий надзор за партией. Естественно, что наш постоянный конвой, да еще приставленный на все время пути к одному и тому же человеку, очень скоро привык, а отсюда, в известной мере привязался к нам. Например, мой конвоир—Непомнящий—дружил со мной настолько, что, по примеру моих товарищей и Розы, стал просто называть меня моим уменьшительным именем. Так, подъезжая уже к Красноярску, он специально приостановил нашу подводу, несколько приотставшую от общей партии, бросился ко мне с объятиями и сказал: «Прощай, брат Саша, в городе уж не увидимся!» А вслед за объятиями мы отправились дальше—он зашагал с ружьем на плече, а я с побрякивающими цепями...

Разумеется, такой конвой, а за ним и дополнительный этапный, скорее были нашими приятелями и даже слугами, чем серьезными стражами, и путь с ними мы проделали довольно легко, тем более, что и мы были нетребовательны, зная, за что и куда шли.

Такое путешествие, выпавшее на нашу долю, было в своем роде единственным. До нас все политические ехали от Томска через всю Сибирь на почтовых лошадях в сопровождении конвоя—солдат или жандармов,—как ехали и мы от Екатеринбурга до Тюмени,—а после нас уже всех политических по 5—8 человек препровождали при большой уголовной партии. Мы же всей нашей компанией, как ехали по России, так пошли и сейчас, не разделяясь, если исключить тех немногих, кто остался от нас в Тобольске и частью в Томске.

И наша дружеская партия шествовала по этапам спокойно и тихо, не предъявляя никаких особых требований и подчиняясь неизбежным неприятностям такого пути.

Грязь и холод этапов, неприхотливая пища, случайно приобретаемая у торгующих деревенских баб, неумелые изготовления собственных поваров подчас малоудовлетворительных и диковинных блюд на дневках, все это мало смущало нас, хотя между нами и были люди, не привыкшие к лишениям, пользовавшиеся незадолго до этого заботливым и нежным уходом. Большая половина из нас, как люди, потратившие много нервной и физической силы и больные, пользовались подводами, т.-е. телегой, запряженной одной лошадью, шагом плетущейся и едва поспевающей за партией; фактически же этими подводами пользовались попеременно все, не исключая подчас и конвойных. А в периоды дур-

ной, дождливой погоды оставались пешеходами только особые ригористы, поставившие себе целью пройти пешком целиком через всю Сибирь.

Отвратительная, дурная погода. Сырая мгла кругом; не перестающий моросить дождь сверху, непролазная грязь, в которой тонут наши бродни,— под ногами. Наши подводы — одноколки — плетутся уныло, шаг за шагом. Бедным конвойным, с ружьями на плече, едва удается подсесть к кому-нибудь на облучек, ибо каждая из подвод переполнена седоками. Человек десяток из нас однакоже мужественно идут, шлепая по грязи и не обращая внимания на сырость и дождь. Среди них Яков Стефанович, известный организатор Чигиринского восстания, принципы которого мало кто одобрял из тогдашних революционеров. Но это фигура видная, хотя и подорвавшая на процессе авторитет безупречного революционера своей склонностью к тактике на основе принципа: «цель оправдывает средства». Его фигура в арестанском халате с отрезанными рукавами и зашитыми их отверстиями, в фуражке без козырька, в широких бреднях производит комическое впечатление после того, как еще так недавно его видели в заграничных костюмах; хотя его оригинальное, некрасивое лицо с умными глазами и мало располагало к шутке, но наши весельчаки, как Ваничка Калюжный, все же всегда находили повод посмеяться над ним... — «И чего меня чорт принес из-за границы!» — сумрачно воскликнул Стефанович, с трудом вытаскивая ноги из

грязи. Этот возглас показался таким резким контрастом с нашим общим положением и с нашей тогдашней психологией, что гомерический хохот по всей партии был ответом на эту невольно вырвавшуюся истину. И нельзя сказать, чтоб к этому смеху не примешивалось нотки злорадной насмешливости: так тогда уже отрицательно многие относились к Стефановичу за его несколько двусмысленное поведение перед процессом и во время его. Никто, конечно, щадя его самолюбие, не хотел подчеркивать перед ним свое к нему отношение — дело это поправить не могло и вызвало бы только ряд тяжелых личных столкновений; мы же все молчаливо как бы оберегали друг друга от всякого рода дрязг и неприятностей, какими и без того бывают чреваты всякие подневольные общежития. Но это бережное отношение к самолюбию Стефановича не помешало ему впоследствии, в короткий период русских свобод, пустить в печать небольшой пасквиль на тюремную жизнь товарищей на Каре. Теперь Стефановича уже нет в живых; он умер несколько лет тому назад у себя на родине, где жил оторванно от всех своих былых связей, и всем нам, когда-то его знавшим, пришлось узнать об его смерти только по газетам...

Ровно целый месяц переходим мы от одного этапа к другому, ежедневно совершая передвижение на 20—25, иногда на 30 верст; после каждых двух таких дней мы имеем день отдыха. Тогда мы располагаемся в нашей камере посвободнее, разбираем

часть своих вещей, кое-кто принимается за какую-нибудь работу, кто-нибудь поет, составляются хоры и пр. Эти так назыв. дневки доставляют нам поистине удовольствие: можно хорошо помыться, отдохнуть, поговорить более обстоятельно, поближе познакомиться с кем-либо из уголовной партии, идущей с нами. С ними у нас с самого начала установились хорошие отношения. Не без того, конечно, чтоб они не хотели нас немного поэксплуатировать, это в порядке вещей, но в общем ни с кем из них у нас не было неприятностей или натянутых отношений; наоборот, мы были всегда к ним благорасположены чисто по-товарищески, а они услужливы и вежливы. Наши женщины, разумеется, ближе сходились с ихними женщинами, особенно с добровольно следующими за мужьями. И, действительно, нельзя было без сожаления смотреть на этих несчастных, без вины претерпевающих все ужасы этапной жизни. Всякого рода унижения, попрания человеческого достоинства, не говоря уже о физических страданиях, о болезнях, все падает на их головы за мнимое или действительное преступление их мужей... Начальство не справляется со здоровьем отправляемых, или не всегда, и не редко в партию попадают, напр., женщины, в последнем периоде беременности. Так было, напр., в нашей партии; на одном из этапов мы узнали о начинающихся родах одной женщины, в соседней с нашей камере. Такое необыкновенное явление взбудоражило нашу публику, а наши дамы

сочли своей обязанностью проявить самое горячее участие к роженице. Конечно, нашлись и повитухи, и при их помощи действительно скоро народился новый обитатель нашего этапа. Разумеется, наши дамы скоро нашли, что в помещении уголовных родильнице лежать опасно: там слишком грязно, душно, неопрятно, — и, по надлежащем обсуждении этого вопроса, единогласно было решено перевести родильницу в наше помещение. Сказано — сделано; мигом были развязаны наши мешки, полетели из них разные тряпки, косынки, простыни и пр., быстро превратились в пеленки, подстилки и т. д. и больная женщина с ребенком помещена в углу нашей сравнительно просторной камеры. Раздался только один протестующий голос, но и тот должен был смолкнуть под градом насмешек и дружеского издевательства. Это был голос административно-ссыльного Ж. — «наш собственный корреспондент», как прозвал его Ваничка за его непромокаемый плащ, так мало гармонировавший с нашим казенным одеянием. Деланно-серьезно Ж. осведомлялся у каждого из нас, не заразительна ли родильная горячка и не больна ли уже ею родильница. И сам он, продолжая шутку, предусмотрительно перебрался в противоположный угол, подальше от больной, к великому веселью и смеху всей публики.

Вот уже и г. Ачинск, последний город перед Красноярском. Нам досталась такая просторная камера, что кое-кто из нас вздумал перетрясти свой багаж. У многих оказались по частям свои вольные

костюмы, появился позыв кое-что из них надеть на себя. Получился целый маскарад. Но больше всего потешил нас Мирский. Было известно, что перед своим процессом он настойчиво требовал, чтоб к первому дню его суда ему была доставлена фрачная пара. Хотелось человеку этим импонировать, неведомо кому: суду или почти отсутствующей на суде публике. Разные фантазии приходят людям! Как бы то ни было, этот пресловутый фрак пролежал у Мирского целые годы, проведенные им в равелине, а сейчас оказался в его чемодане, и в него он теперь имел возможность нарядиться и в нем пощеголять, хотя этот фрак мало подходил к его кандалам, бродням и далеко не фрачным брюкам. Получалось комичное впечатление какого-нибудь негра или папуаса во фраке и цилиндре на совершенно голом теле.

Постепенно наш первый сибирский этапный путь подходит к концу.—Красноярск для части наших странников—административных—является конечным пунктом путешествия, для других это только временная, более или менее длительная остановка, и он уже близок, он на виду.

---

5. Красноярск.

В один из серых сентябрьских вечеров мы подходили к воротам Красноярской тюрьмы.

Тюрьма встречала нас не очень радушно. Стоя у ее запертых ворот, мы и наш конвой недоумевали, почему же в этот серый, неприветливый вечер, с начинающим накрапывать дождем, не открываются перед нами гостеприимные двери? Оказалось, что в тюрьме решается вопрос, как разместить нас, явившихся в таком количестве и такой спаянной группой, что не было предусмотрено регламентом тюрьмы. Следовало бы разместить нас всех по одиночкам во избежание проявления нашей злой воли, да в тюрьме нет такого количества отдельных камер. Как же быть? Нашли выход в размещении нас по 5—6 человек в изолированных камерах. Но оказалось, что на это не согласны мы: у нас общее хозяйство, общие деньги, запасы, и разделение для нас не только не желательно, оно просто невозможно.

Новые предположения начальства, новые препоны с нашей стороны. Целый конфликт, и мы категорически потребовали вызова губернатора для решения этого вопроса. Мы, ведь, еще не совсем привыкли к строгому тюремному режиму, еще недавно превратились в бесправных людей и много еще сохранилось в нас навыков бывшей, свободной жизни; и были мы очень голодны, и было нам очень холодно!

В результате нашелся компромисс: нам даны две камеры для мужчин и для женщин, с правом вести общее хозяйство и сходиться днем для обеда и прочее.

Красноярская тюрьма того времени состояла из большого белого каменного здания, благополучно существующего и по сей день, хотя перестроенного и расширенного, и примыкающих к нему с северной стороны деревянных больничных корпусов. Ничего кругом этих построек не существовало, ни домов, имеющихся сейчас при тюрьме для служебного персонала, ни самого города, теперь подошедшего вплотную к тюрьме.

Красноярск, как город, интересовал нас мало. Наша жизнь сосредоточилась здесь в тюрьме, и это мрачное, большое здание, стоящее на отлете от города, принимало в себя, а затем и выбрасывало для дальнейшего пути в глубь Сибири, многое множество лиц, подобно нам, только временно, на перепутьи преклонявших здесь свою голову. И какой бы солидный исторический памятник предста-

вила из себя эта тюрьма, если бы запечатлела на своих стенах тем или иным способом образы всех прошедших через нее лиц, волею судеб направивших свои стопы в отдаленнейшие места Сибири! Если миновать первую половину прошлого века—декабристов, петрашевцев, поляков и пр.,—то с 60-х только годов: чернышевцы, михайловцы, каракозовцы, писаревцы, нечаевцы, централисты, землевольцы, чернопередельцы, народовольцы—какое множество лиц разнообразных направлений, всевозможных политических credo, с разным миропониманием видели стены Красноярской тюрьмы, и каких душевных драм личного и общественного характера они были свидетелями!

В наше распоряжение была отдана большая камера, в нижнем этаже. Кое-как расположившись и наскоро закусив, мы приступили к чаепитию, в первый раз за все время пути, отдельно от наших дам. Им было предоставлено помещение в верхнем этаже тюрьмы. Но так продолжалось недолго, всего несколько дней, в течение которых мы забавлялись беседами на чисто-научные, философско-социологические темы, рассказами из недавнего пережитого нашей революционной жизни, спорили и делились небольшими рефератами.

Как сейчас помню фантастическое, но талантливое изложение Льва Златопольсксго его собственной утопии. Вкратце—это было описание фаланстера на манер Фурье, но охватывающего собою не отдельное производство, фабрику или

даже селение, а целый большой промышленный город с многотысячным населением, где наука, техника и искусство будущего создали для жителей неописуемые удобства жизни, ничтожный minimum рабочих часов, превращающий труд в удовольствие, и где протекала счастливая, безмятежная жизнь, граничившая с райским блаженством. „Круглый дом“,—так называется фаланстер Златопольского,—состоял из ряда больших улиц, концентрических и радиальных, снабженных вечно двигающимися в обе стороны панелями, дающими возможность быстро и легко передвигаться с одного конца города на другой. В качестве двигательной силы всюду и везде использована, конечно, электрическая энергия; телефоны, аэрофоны, фонотелескопы, аэроскопы и т. д. и т. д. не забыты в этой утопии, и главную заботу автора составляло изобретение воздухоплавательных аппаратов.

Он же дал нам небольшой аутореферат с критикой теории ценности Маркса. Трудно припомнить, в чем заключалась эта критика, но, во всяком случае, он обнаружил при этом и недюжинное знакомство с диалектическим методом, и с относящейся к этому вопросу литературой. Ведь не надо забывать, что только много позднее подверглись солидной критике многие положения Маркса, этого пророка научного социализма.

Златопольский был в высшей степени способен к созерцательной жизни и очень хорошо использовал годы своего одиночного заключения. Нельзя

обойти молчанием эту оригинальную и в то же время, быть может, уже несколько больную организацию. Еще будучи на воле, живя под нелегальной фамилией Мельникова, он поражал сосредоточенностью своей мысли. Нередко, участвуя в общих обсуждениях по какому-либо вопросу, он так глубоко уходил в свою собственную мысль, что неоднократные призывы его к общей беседе не могли вывести его из глубокой задумчивости. Он продолжал ходить из угла в угол, покусывая одну и ту же сторону своей бороды, и, только закончив обдумывание своей мысли, вспоминал едва воспринятый призыв к беседе. Он был арестован при разгроме исполнительного комитета „Народной Воли“, в январе 1881 г., вместе с Колоткевичем, Баранниковым, Клеточниковым и другими и вместе с ними судился в 1882 г. Технолог 5-го курса, которого профессура прочила оставить при институте, как человека, подававшего большие научные надежды, Златопольский вдруг бросил институт перед самым выпуском, кажется в тот год, который в истории русского революционного движения принято называть „безумным годом“, и бросился „в народ“. Из желания побрататься с народом и „опроститься“ до степени полного слияния с ним, он даже женился на крестьянке и вплотную занялся хозяйством и пропагандой. Но такое состояние не могло продолжаться долго: репрессии сверху, неудовлетворенность внизу породили новое направление в революционной мысли. Оно уже глухо

ходило среди всех участников „безумного года“, из которых кое-кого уже и не стало. Златопольский не был чужд этого брожения, и нарождавшаяся партия „Народной Воли“ сразу же записала его в свои ряды. И так он проделал весь короткий период своего участия в партии, часто стоя на самом ответственном посту, а теперь шел с нами на 20-летнюю каторгу.

Было бы очень долго рассказывать, даже вкратце, про жизнь Златопольского на Каре, но нельзя не упомянуть, что и там коротать время ему помогла его способность сосредоточиваться и углубляться в свою мысль, до полного забвения всего окружающего; благодаря этому все невзгоды и печали нашей жизни проходили мимо него, да и радости, поскольку они выпадали на нашу долю, задевали его только поверхностно, как бы сбоку. Однажды он в необыкновенном напряжении продержал всю тюрьму в течение 2—3-х месяцев; он поведал нам о своем изобретении аэроплана, и так умело и талантливо, с самыми сложными механико-математическими выкладками и формулами, которые никто из нас опровергнуть не смог, излагал свою теорию, что тюрьма осталась в недоумении, а наши мастера-артисты немедленно приступили к осуществлению модели новой воздушной машины. Не то, чтобы у тюрьмы была надежда в один прекрасный день всем целиком взвиться в воздухе и перенестись, ну хотя бы в Швейцарию или Францию, но заинтересовывала сама грандиозность плана,

а отсутствие теоретических опровержений или критики проекта—делали его в наших глазах хотя частью осуществимым.

— „На моем корабле я увезу вас с быстротой молнии и не только на луну, но и на любую планету вселенной“,—говорил Златопольский,—„и не удивляйтесь быстроте движения моей машины, она не противоречит законам природы: ведь движение земли вокруг солнца происходит еще с большей быстротой, а скорость света измеряется десятками тысяч верст в секунду!..“

Невозможно было сколько-нибудь основательно возражать на такие положения без существенных данных в руках. К сожалению, его проект был настолько сложен и так технически труден, что удержать его в памяти было невозможно. Но сам Златопольский до самой смерти своей носился с этим проектом и искал ошибок, которые обусловили неудачу с его моделью. А умер он в Чите уже крестьянином из ссыльных, состоя библиотекарем при местном музее. И эта смерть необыкновенно способного, даровитого и столь своеобразного человека прошла так же одиноко и незаметно для окружающих, как изолированно, в силу оригинальности его натуры, шла и его жизнь.

На первых же порах состав нашей партии значительно уменьшился: все административные ссыльные закончили свое путешествие и были или выпущены здесь же из тюрьмы, или отправлены в уездные города Енисейской губ. Словом, мы оста-

лись в составе только одних каторжан, вместе выехавших из Петербурга.

В отдельной камере от женской половины нашей компании мы прожили недолго. На следующий же день нас свели с ними на целый день до вечера, а через несколько дней еще случилось как-то так, что и мы, мужчины, перебрались на жительство в верхний этаж, где оказались свободными еще несколько небольших каморок, каковые и были отведены в качестве спален для наших дам. Кажется, косвенным поводом для этого была Анюта Якимова с ее грудным младенцем—Мотей. Этот ребенок родился в тюрьме и еще совершенно не дышал вольным воздухом. В Петропавловской крепости первые крики его, доносившиеся до меня откуда-то издалека, словно из-под земли, беспокоили и волновали меня в моем одиночестве. И я, не зная еще о его существовании, не мог предполагать, что и он будет нашим спутником до Красноярска. Как бы то ни было, измученная мать, больной ребенок и вся обстановка их жизни дала повод тюремному врачу, доктору П. И. Можарову, рекомендовать и лучшую изоляцию, и улучшенные условия для матери и ребенка. Слово д-ра Можарова было законом для администрации, и улучшенный режим распространился понемногу на всех нас. К этому времени ребенок заболел обоюдосторонней пневмонией, жизнь его была в опасности, необходимо было установить дежурства при нем, а мать убедить отдать его на воспитание кому-либо

из товарищей на воле. Таковые нашлись в лице д-ра С. В. Мартынова с женой Софьей Александровной, бывших в администрат. ссылке в Минусинске. Надо было вызвать С. А. Мартынову, поправить ребенка, а на все это надо было время, и мы все временно оставались в тюрьме.

Скоро, почти тотчас же по водворении вверху, к нам присоединились два человека, оставшиеся здесь по болезни от предыдущих партий. Это были Фанни Реферт и Н. Н. Дзвонкевич. Реферт— молодая девушка, осужденная по одному из южных процессов на непродолжительную каторгу, заболела дорогой тяжелой формой туберкулеза. Оставленная д-ром Можаровым здесь, она перезнакомилась со всеми проходящими партиями, многое перевидела, много перетерпела, но не потеряла своей жизнерадостности и молодого задора, даже и тогда, когда чуть не смертельно ушиблась, упавши с высокого окна, и нажила неизлечимую болезнь. Это окончательно предрешило ее участь— совсем остаться в Енис. губ., что, по инициативе д-ра Веймара, тогда проходившего на каторгу, и при исключительной помощи д-ра Можарова, удалось охлопотать у высшей администрации. Каторга для Реферт была заменена поселением и, просидев еще после нас с год в тюрьме, она поселилась в Минусинске, но здоровье ее выдержало недолго, и вскоре эта молодая девушка покончила свои земные счеты.

А д-р Веймар, так дружески и сердечно озабо-

ченный судьбоюРеферт, был должен безостановочно продолжать свой путь.

На свете, в сущности, немного было таких светлых и обаятельных людей, как Орест Эдуардович Веймар. Близкий приятель Петра Алексеевича Кропоткина, не менее близкий друг Глеба Ивановича Успенского, он участвовал в освобождении первого при его известном побеге из Николаевского госпиталя[1]). Веймар, всегда веселый, неизменно человеколюбивый до самозабвения, одной своей внешностью импонировал окружающим и заставлял прислушиваться к своему голосу, всегда и легко овладевал беседой, будь то теоретический спор, либо рассказы на темы о пережитом, в которых он особенно был неистощим. Прекрасный врач, он и погиб на своем славном посту, раз'езжая от больного к больному в период карийских бурь и непогод, пока не схватил неизлечимой простуды, вместе с начинающимся туберкулезом, сведшей его в могилу.

Н. Н. Дзвонкевич тоже по болезни оставался в Красноярске и долечивал свою плохо заживавшую рану. Еще в начале своего путешествия он решил воспользоваться первым удобным случаем

---

[1]) См. „Записки революционера", П. Кропоткина; здесь, при описании побега, автор говорит, что, подбегая к ожидавшей его пролетке, он сперва недоумевал, при виде сидевшего там важного седока и только лишь, когда седок обернулся в его сторону, он узнал в нем своего близкого друга. Это и был О. Э. Веймар.

для побега. Такого случая не представлялось, и вот, наконец, под‘езжая к Красноярску, он решил во что бы то ни стало осуществить свою заветную мечту. Всего за несколько верст до города он присмотрел удобный для побега лесок. Расчет был в том, что растерявшийся конвоир решится стрелять в него лишь тогда, когда он успеет забежать в этот лесок; тогда шансы избежать пули, конечно, увеличиваются во много раз. И вот Дзвонкевич заявляет своему конвойному, неотступно за ним следовавшему, что он вынужден остановиться по естественной необходимости. Обычно это не останавливало внимания конвоя, и в данном случае он отнесся к факту совершенно безразлично. Дзвонкевич слегка присел невдалеке от дороги и вблизи лесочка, быстро сбросил подготовленные к тому кандалы, казенный халат и шапку, и быстро побежал в лес. Изумленный конвоир только успел крикнуть: „Куда ты? Что ты?“ Но видя бесполезность прицела, даже не стрелял, а исступленным криком призывал на помощь своих товарищей-солдат и вместе с ними кинулся в погоню. На беду Дзвонкевича, перелесок, казавшийся столь надежным, оказался не очень широк, а сейчас же за ним шла незаметная до сих пор дорога. Но еще хуже было то, что в тот момент, когда беглец добежал до дороги, по ней шел длинный обоз, который обойти было невозможно. Дело было явно проиграно, и Дзвонкевич повернул обратно в сторону своих преследователей, полагая, что, отда-

ваясь им в руки, он не подвергается нападению с их стороны. Но он увидал тотчас же, что их ружья направлены на него. Он только успел крикнуть: „Сдаюсь, не стреляйте!“, как раздался выстрел, и он упал, пораженный пулей в правую сторону груди навылет. К ране присоединились обычные в таких случаях побои раздраженного конвоя, а затем раненый был отвезен в город. Мы застали его уже на ногах, но с далеко не зажившей еще раной, которую мне и пришлось перевязывать с этого времени.

Человек лет 40—45, с благообразным лицом, украшенным большой, широкой бородой, среднего роста, косая сажень в плечах, Дзвонкевич был судебным приставом в Симферополе. Издавна сочувствуя движению и помогая ему чем мог, он только последнее время стал ближе к деятелям на юге, что и привело его в конце-концов на скамью подсудимых по Стрельниковскому процессу. Как очень сильный физически человек, он не мог помириться с неволей, и отсюда его мечта о побеге и вольной жизни в среде разгоравшегося движения. Но рана в грудь положила предел его вожделениям и надолго прекратила всякие помыслы о побеге. Затем наступили болезни, старость... и вот человек вычеркнут из деловой жизни.

При всей сравнительной мягкости режима в тюрьме, в ней в одном отношении было необыкновенно строго: ни одна душа с воли не могла добиться разрешения на свидание с кем-либо из

нас. Особенно страдал от этого Фомин, жена которого прибыла сюда с предыдущей партией. Она, благодаря тому, что не была его законной женой, не могла добиться свидания с мужем. Только, когда всех нас водили в фотографию, чтобы переснять заново карточки, она воспользовалась этим моментом, вошла в нашу небольшую толпу и все время пути спокойно разговаривала с Фоминым. А поговорить им было о чем: расстались они в момент ареста и с тех пор не имели никаких между собою сношений; за это время у нее родился, а дорогою и умер, ребенок, сама она преодолела какую-то тяжелую форму заболевания, и теперь им предстояла, после этого же свидания на улицах Красноярска, продолжительная и, вероятно, вечная разлука.

Таково подчас влияние тюрьмы: она в корень разрушает уже сложившиеся и окрепшие семейные узы; но зато иногда она же и способствует закреплению таковых.

Так было, например, с П. Ф. Якубовичем. Расставшись со времени ареста со своей нежно любимой, как мог упорно и настойчиво любить только Петр Филиппович, невестой, они на целые годы совершенно потеряли из вида друг друга и не надеялись свидеться снова, так как тяжелая доля, выпавшая каждому из них, совершенно их разделяла. Но вот Красноярская тюрьма, где неожиданно с‘езжается эта нежно привязанная друг к другу влюбленная пара. Они снова нашли друг друга,

и хотя положение обоих не давало права надеяться на скорое осуществление их заветной мечты, ибо один шел в 20-летнюю каторгу, а другая на неопределенное время в Якутскую область, однакож взаимное доверие и любовь укрепила в них уверенность хоть и далекого, но все же грядущего личного счастья. А им обоим, измученным, исстрадавшимся, оно было так необходимо! Да простит мне память дорогого Петра Филипповича, и пусть извинит меня дорогая Роза Федоровна, если в мое описание вкрались какие-нибудь неточности:—так много прошло с тех пор времени, так много утекло воды, что кое в чем память могла мне и изменить. Это тем более возможно, что личным свидетелем этих перепетий я не был,—Петр Филиппович проходил через Красноярск много позднее меня. Но я припоминаю, что их хлопоты о разрешении венчаться в Красноярске приходили уже к концу, когда оба они должны были двинуться в дальнейший путь по разным дорогам и тем отложить на долгое время закрепление своего союза.

Милый, дорогой Петр Филиппович! С какой чистой, детски кристальной душой входил он к нам в тюрьму! И как мало подходила его нежная натура к некоторому, неизбежному, правда, огрубению тюремных нравов. Как ярко отражалось на нем несоответствие его идеального настроения и привычек с тем, что он нашел в лице его новых товарищей! Но он терпимо относился к неприятным проявлениям этой стороны тюремной

жизни, всегда умея морально ощупать лучшие стороны человеческой природы под временным, наносным слоем грубости. А этими сторонами, не взирая на внешнее противоречие, наши товарищи были одарены в избытке. И Петр Филиппович победил. За ним было признано право, в конце-концов, оставаться тем, что он есть, не шокируясь поведением окружающих и не выступая против них с проповедями. Он был поэт-идеалист, истинный поэт в душе: он любил и знал русскую литературу, как никто из нас, много писал, много занимался, и жизнь в нашей тюрьме значительно обогатила и без того солидный запас его литературных данных. Первое выступление Петра Филипповича, как поэта-автора, в нашей камере было несколько неудачно. По нашей просьбе, он прочитал несколько своих стихотворений, между прочим, свой изящный „Девятый вал“, но прочитал с тем искусственным, деланным подъемом, какой был в ходу при декламации поэтов в начале 80-х годов. Это выражалось по преимуществу сильным растягиванием слов, с повышением и понижением голоса в самом широком диапазоне, особой модуляцией и с соответственно повышенной жестикуляцией. Такое преувеличенное выражение чувствований пришлось не по вкусу реально настроенной тюрьме, что и было дано заметить нашему поэту. Грустные, детски милые глаза Петра Филипповича выразили крайнее изумление, но он отлично понял настроение товарищей, не обиделся на замечание и только с тех

пор читал стихи уже просто, без этой излишней аффектации. В круг товарищей и в их интересы он вошел легко и быстро, и первоначальное, как бы скептическое, слегка насмешливое отношение к его наивной непрактичности быстро исчезло и заменилось чисто товарищеским, дружеским и даже любовным к нему отношением. Всякий знал и видел в нем чистоту души и незапятнанность идеалов; всякому понятна была, кроме того, его непосредственная искренность и способность идти до конца, сообразно своим убеждениям, и это ценилось, уважалось, и уважались его занятия литературой; его переводы Бодельэра, которыми он был довольно долго занят у нас, больше не вызывали никаких замечаний со стороны слишком далеких от символизма и его отца—Бодельэра наших тюремных реалистов.

Милый, славный Петр Филиппович! Он часто приходил ко мне в камеру, неизменно приносил с собой книгу какого-либо поэта, чаще всего своего любимого На̀дсона (непременно На̀дсона, а не Надсо̀на) и заставлял меня читать ему вслух его произведения. Читать я никогда не был большим мастерэм, но именно простота моего чтения, без тени какой-нибудь декламации, и нравилась моему слушателю. И много часов провели мы таким образом вместе, беседуя то с вдумчивым, грустным, меланхолическим На̀дсоном, то с корифеями русской поэзии—Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, то с красивым, но мало содержательным

Фофановым, то даже с библейским Фругом. И эти чтения останутся памятными мне на всю жизнь своею простой, незатейливой прелестью на фоне многолетней, под час тяжелой и суровой, и всегда мрачной тюремной жизни. Нередко, так сказать, утомленный поэзией, Петр Филиппович говорил мне, что ему хотелось бы, и как бы хотелось, написать что-либо хорошее прозой. Он чуял в себе силы художественного прозаика, но писать какой-нибудь роман он никогда не собирался. Во время пребывания в тюрьме он попробовал написать только, и, надо сказать, в высшей степени удачно, краткие биографии погибших при катастрофе с Сигидой—Калюжного и Бобохова. К сожалению, биографии эти погибли, и только жалкие их остатки удалось мне видеть в архиве Бурцева в Париже. Но Петр Филиппович написал-таки прозу, и его книга „В мире отверженных" не только составила ему имя, она помогла ему выбраться, наконец, на свет божий и пристроиться к большой литературе [1]).

В 89 году мы провожали Петра Филипповича, полного сил и здоровья. Он уезжал тогда в Акатуй для продолжения своей каторги, а мы оставались на Каре. А в 1905 году я встретился с ним вновь в Петербурге и, увы! к своему ужасу, нашел его уже с подорванным здоровьем, с боль-

[1]) В 1906 г., когда я был у него в Озерках, он высказывал мне свое предположение, что именно его книга, независимо от него самого, была причиной разрешения ему жить и лечиться в Петербурге.

ным сердцем. И с каждым новым своим приездом в Петербург я видел его и ясно замечал прогрессирующий ход его основной болезни, пока, наконец, тяжелые осложнения инфлюэнцы, в связи со слабым, дряблым сердцем, не свели в могилу этого доброго, нежного, любвеобильного, всегда идущего на встречу всякой нужде, и крайне отзывчивого друга.

Да простит мне читатель это невольное отступление, но намеченная тема возбуждает такой рой воспоминаний, с таким множеством эпизодов, лиц, жизней она связана, что нет сил и возможности не уклониться в сторону от прямого, последовательного пути.

Продолжаю свое повествование.

Большое удовольствие и развлечение доставляли нам случайные проезды ссыльных, перебиравшихся поближе к России. Их было не мало, и каждый раз мы радовались им, так как всякое новое лицо вносило частицу своей индивидуальности в нашу бедную впечатлениями жизнь, и обогащало нас сведениями об условиях жизни в ссылке в отдаленнейших местах Сибири. Так, на небольшое время останавливались здесь при нас Немировские, Новаковский, Левандовская и много других.

Но наиболее заметным, оставившим глубокий след на всех, остававшихся еще в тюрьме, было посещение ее бароном Штромбергом. По процессу 82 г. он был отправлен в административную

ссыску в г. Верхоленск, а приблизительно в октябре или ноябре 83 г. его возвращали в Петербург, и тогда-то ненадолго он останавливался, проездом, в Красноярской тюрьме и был, конечно, в постоянном общении с нами. Он не знал и не предполагал всего трагизма причин, по которым его везли в Петербург и был так далек от истины, что не только уверял всех нас, но, повидимому, и сам был искренно уверен, что его везут для полного освобождения. Своей внешностью А-лдр П. Штромберг почему-то напоминал мне д-ра Веймара; и это сходство, по-моему, не ограничивалось даже одной внешностью. Что-то было в них общее: в манере держаться, разговаривать, в отношении к окружающим и т. д. Это что-то высшее, обоим им присущее, какой-то внешне проявляемый аристократизм духа, особенно резкий и отчетливый у них, настроенных явно демократически. Разбитной, веселый моряк, Штромберг был неистощим в рассказах, всегда заразительно весел, приветлив и мило своеобразно галантен. Его короткое пребывание среди нас было истинным праздником, и веселый, жизнерадостный, он уехал с полной уверенностью скоро быть на свободе, вновь приняться за прерванную работу организации и пропаганды и быть полезным делу и людям.

Но судьба судила иначе. Штромберг был привлечен к процессу Веры Фигнер, приговорен к смертной казни... и казнен...

---

6. В больнице.

Прошло уже больше двух недель нашего отдыха в Красноярске, начали уже поговаривать о дальнейших отправках, намечались имена первых путешественников, которым предстояло опять ехать на тройках в сопровождении жандармского конвоя. Оставались на более продолжительное время только наши дамы и больные, как Дзвонкевич. Последний высказывал желание ехать вместе со мною, чтобы не остаться дорогой без перевязок. Но это казалось неосуществимым, так как заживление его раны шло довольно медленно. И все-таки, через 6 — 7 месяцев, нам пришлось ехать с ним в одной партии. Дольше всех предполагала остаться Якимова: еще не приехала из Минусинска С. А. Мартынова за ее ребенком, а ведь надо было чтоб ребенок к ней попривык, чтоб сама С. А. поближе к нему пригляделась, ознакомилась с приемами ухода за ним и пр. К тому же ребенок поправлялся медленно, был слабым и хилым, как истое тюремное растение, вы-

росшее без должного количества света и воздуха.

Все же, при внимательном пользовании его д-ром Можаровым, он обещал скоро поправиться и окрепнуть. Д-р Можаров бывал у нас часто, и это был первый светлый луч в наших впечатлениях в Красноярске. Конечно, он не хотел, и не мог входить с нами в какие-либо личные отношения, помимо своей роли добросовестного врача. Но уже такова человеческая природа, особенно с тюремной психологией, что и в строго замкнутом в своих обязанностях чиновнике усматривает черты гуманности, а иногда и сочувствия, сказывающиеся не в делах, а скорее в отсутствии плохих дел, во взглядах, в игре физиономии и, конечно, в возможных „добрых“ делах. Мое дальнейшее, более близкое знакомство с доктором, отнюдь не переходящее границ официальности, только подтвердило мои первые о нем впечатления. Прежде всего, это был, повидимому, совершенно самостоятельный человек, что, быть может, обусловливалось его сознанием своей необходимости, своей важности в заведуемом им деле. И, действительно, его то или другое решение всегда являлось обязательным для тюремной администрации; никаких противодействий, никаких протестов,—его распоряжение немедленно принималось к сведению и к исполнению.

Поэтому постановка медицинского дела в тюрьме и больнице при ней была несравненно выше та-

ковой не только в других, уже знакомых нам тюрьмах, но, думается, гораздо выше всех тогдашних больниц приказа общественного призрения и им подобных.

Таков был Можаров, повидимому, не делавший никакой разницы между больными тюрьмы, к какой бы категории последние ни относились. И это качество, между прочим, привлекало к нему наши сердца, так как все принципы строго демократического характера были нам по душе.

Как-раз в то время, когда собирались в путь наши первые спутники, у меня заболела Роза какой-то острой лихорадочной формой. Как громом поразил меня этот факт: ведь еще накануне вечером она была здорова и весела. Д-р Можаров, немедленно прибывший, предложил поместить нас в больницу, так как для него было уже несомненно, что мы имеем дело с возвратным тифом. Его уверенность скоро оправдалась; необыкновенно высокая температура больной сразу показала, что дело идет о серьезном заболевании, и ее немедленно перенесли в больницу, куда, с разрешения доктора, перебрался и я, отчасти для ухода за больной, отчасти потому, что тогда еще не разделяли в дороге мужа от жены.

Тюремная больница была устроена по барачной системе и состояла из нескольких старых бараков, ближайших к тюремной стене, и вновь отстроенных двух или трех бараков, расположенных вдали от тюрьмы. Первоначально мы заняли палату одного

из старых бараков и, благодаря доктору, были обставлены довольно удовлетворительно.

Благодаря-ли значительному истощению больной или силе самой инфекции, но болезнь сразу же приняла очень серьезный характер. Мое беспокойство росло с каждым днем, с каждым часом. К счастию, я мог ни на минуту не оставлять больную и, таким образом, она не оставалась на попечении посторонних лиц, а это не могло не действовать на нее благотворно. Протекли первые тяжелые дни болезни, наступил первый кризис, как всегда, вызывающий естественное беспокойство; но на первый раз все обошлось благополучно—наступили промежуточные дни, как бы дни выздоровления, и дали нам возможность отдохнуть от переживаемых тревог.

Но вскоре за первым приступом наступил второй, затем третий и уже можно было предполагать наступление четвертого приступа. С каждым разом моя больная слабела больше и больше, и я, совершенно беспомощный в этих условиях, мог приходить только в отчаяние. Д-р Можаров становился серьезнее, вдумчивее, а это приводило меня в еще более тревожное состояние. Во время четвертого приступа, который не был короче первых, Можаров посещал нас уже не один, а в сопровождении недавно приехавшего молодого врача В. М. Крутовского. Происходили, таким образом, консультации, результатом которых были предприняты разные меры, чтобы поддержать сердце на должной

высоте. Сократить же приступы в их количестве и качестве не было в силах врачей.

Моя больная не избегла и пятого приступа. Конечно, это вызвало большое беспокойство у врачей, а я испытывал какой-то кошмарный ужас. Я бегал от одного к другому из них, но оба не могли, понятно, сказать мне ничего иного, кроме того, что все кончится благополучно, если выдержит сердце. Утешение не велико, и я в глубине души упрекал врачей в бессердечности: они, словно сговорившись, порознь и вместе, говорили мне одно и то же. К счастию, пятый приступ был последним и благополучно миновал.

За весь период болезни Розы, а она продолжалась очень долго, мы лишний раз могли убедиться в высоких качествах д-ра Можарова, как врача и человека. Неизменно ровное и гуманное отношение ко всем больным без исключения, вполне серьезное, продуманное отношение к своим обязанностям, настойчивость в достижении намеченных целей и должная степень спокойствия в неизбежных иногда у всякого врача неудачах,—ставили доктора на положение настоящего авторитета в области медицины, а его исключительно самостоятельное положение в больнице позволяло ему повышать требования для своих больных до небывалого для тюрем предела. И, несомненно, лучшей характеристикой д-ра Можарова могут служить отзывы его больных, особенно из категории наиболее забитых и обездоленных—уголовных, а таковые,—мне

неоднакратно приходилось их слышать, — были без исключения в пользу нашего доктора.

В дальнейшем потекло мирно наше существование по мере востановления сил у больной. Это была нелегкая задача, так как организм ее был подорван целым рядом предшествовавших потрясений: тяжелая форма брюшного тифа в 1881 г., арест и тюрьма на целый год в 1882 г., продолжительное путешествие и возвратный тиф в 1883. И все-таки она поправлялась сравнительно быстро, хотя через $1\frac{1}{2}$—2 месяца после тифа нам еще пришлось познакомиться с одним из более известных врачей города, с д-ром П. И. Рачковским. В критический момент он был вызван мною в больницу, охотно и быстро приехал к нам и произвел на нас в высшей степени выгодное впечатление. Молодой изящный врач, лучший и единственный акушер в городе, он отнесся к нам вполне сочувственно и скоро успокоил возникшие у нас сомнения и боязнь.

И дальше тихо и однообразно, без внешних впечатлений, поплыли дни в нашем узилище—тюремной больнице. По настоянию д-ра мы были оставлены здесь до полного восстановления сил у больной. Кроме нас на положении хронического больного в той же больнице находился сосланный в Красноярск, кажется, на 5 лет, некто Л. Семиренко. Знакомство с ним было сведено быстро, и он как старожил больницы — в частности и города — вообще, был очень полезным осведомителем для нас

и для всей нашей партии во многих отношениях. Тюремный режим здесь был настолько свободен, что к Семиренко, напр., на целые дни приходила его жена с воли, а из тюрьмы к нам являлись наши спутники, которых однако же становилось все меньше и меньше, по мере того, как они увозились в дальнейший путь в глубь Сибири — на Кару или в Якутскую область.

На непродолжительное время в больнице же был помещен грудной больной Немировский со своей женою, и, таким образом, иногда мы собирались в небольшую компанию, где подчас забывалась действительность нашего положения, цель нашего путешествия и предстоящие годы неволи.

За все время пребывания в Красноярске мне один только раз пришлось встретиться с представителями местной администрации. Енисейским губернатором был тогда генерал Педашенко, по отзывам его знавших, человек очень мирный, не отличавшийся замашками помпадура и вовсе не злой. Наши родные, в ответ на мою телеграмму о болезни Розы, нашли какие-то ходы к губернатору, результатом чего была послана к нему депеша одного из его личных знакомых с просьбой принять меры к облегчению положения больной. Генерал ограничился тем, что депешу эту переслал мне, из чего можно было умозаключить, что он в некотором роде был непрочь удовлетворить какое-либо наше законное желание. Просить нам его ни о чем не пришлось, но обстоятельство

это дало мне повод увидать смотрителя тюрьмы, некоего Островского, самолично доставившего мне депешу губернатора. Об этом Островском ходили в тюрьме и больнице не очень лестные слухи. Его считали глупым и грубым самодуром, пьяницей, очень резким и нахальным с подчиненными и необыкновенно трусливым перед начальством. Такая характеристика, впрочем, не была чем-то невероятным и не только для тюремных чинов того времени. Единственный разговор, каким я обменялся с Островским, заключался в следующем. Я спросил, не могут ли с меня временно снять цепи, мешавшие моему уходу за больной, на что и получил от него краткий ответ—нет! Этого, очевидно, не мог добиться и Можаров, хотя с такой просьбой я к нему не обращался, а предпочел выйти из положения собственными средствами: — я просто крепко обматал кандалы полотенцами, и они перестали брячать.

И самого губернатора мне пришлось видеть единственный раз при его посещении больницы, при чем мы столкнулись с ним в корридоре нашего барака совершенно неожиданно и разошлись, только обменявшись взглядом. Губернатор был небольшого роста, уже довольно пожилой человек, державший себя очень просто, без излишней бюрократической помпы и довольно приветливой внешности. Быть может, ему интересно было посмотреть на лиц, находящихся в нашем положе-

нии, о которых неожиданно ему телеграфируют из Петербурга.

Несколько интересных знакомств пришлось нам свести за это время с представителями уголовной среды, часто очень богатой типами, достойными более тщательной характеристики. Остановлюсь на некоторых. Вот милый хохол, весельчак и балагур, наш певун—„Вакула кузнец", так прозвали его мы. Он пошел на каторгу по совершенно неведомой для него причине: заступился за избиваемого человека по пьяному и праздничному делу в деревне и был обвинен в его нечаянном убийстве. И нельзя было не верить в невинность этого добродушного, милого человéка, такой добротой и непосредственностью веяло от всей его фигуры. В больницу он приходил навестить свою больную жену, следовавшую за ним добровольно. Этот „Вакула" в последствии шел с нами в партии до г. Читы, останавливаясь там, где по разным причинам задерживались и мы. И всегда он был в первом ряду кандальников, запевало арестанских песен, подхватываемых хором под аккомпанимент побрякивающих цепей и всегда в приятельских отношениях не только с нами, но и со всей партией. По окончании нашего пути и потом на воле мне не удалось разыскать „Вакулу", и только глухо донесся до нас слух, что он бежал с каторги вслед за тем, как покинула его жена. И сейчас еще мне трудно представить себе нашего мощного, но по-детски добродушного, наивного

и непосредственного „Вакулу-кузнеца“ в роли бродяги—завсегдатая тюрем и этапов.

А вот знаменитый разбойник Никитин, приговоренный к смертной казни и постоянно убегающий из тюрьмы. В последний раз он бежал вместе с нашим товарищем Павлом Ивановым, сидевшим в смежной с ним камере. Никитин благополучно соскочил с крыши, куда вышли они через печную трубу. Иванов же соскочил неудачно, ушибся до обморока, был тут же захвачен и страшно избит. Теперь Никитин, вновь пойманый, уже чувствует себя бесповоротно погибшим в своей клетке-одиночке и потому не стесняется в открытой и грубой, непечатной критике всего, что проходит мимо его. И, спросив разрешение присутствовать в церкви, в одно из торжественных богослужений он громко, площадной бранью, обливает присутствующих и самих служителей церкви. Вскоре Никитин судился и был казнен.

Вот в больнице жена другого, казненного уже, разбойника Тарасова, очевидно вдохновительница и часто инициатор его дикого разгула. Она поучает бесстрашию своих невольных сожительниц перед наказанием, вплоть до смерти, и хвалится тем, напр., что, едучи с мужем и повстречав воз сена, на котором сидели двое небольших мальчишек, она упросила мужа пристрелить их обоих только для того, чтобы посмотреть, как они, по ее выражению,—„будут дрыгать“, умирая. И много, много случаев истинного извращения человече-

ской природы проходило перед нашими глазами как за время пребывания в больнице, так и еще больше за дальнейший путь в глубь Сибири.

А пребывание в Красноярске понемногу стало подходить к концу. Уже прошла зима, незаметно промелькнули и весенние месяцы с их быстро распускающейся природой, что так характерно для Сибири, где каждое деревцо, каждый цветок и травка как бы торопятся использовать краткий период тепла и света и ненасытно пьют, заблаговременно распустившись, ароматы весенняго солнца.

Наступило и лето, и надо было собираться в дальнейший путь. Приблизительно в средине июня уже и сам д-р Мажаров не мог дольше держать нас в больнице и об'явил нам об отправке в партии в ближайшую очередь. Все наши спутники уже давно были отправлены; в тюрьме оставался только Дзвонкевич, с которым мы и должны были ехать вместе. Моим больным была предоставлена подвода—лошадь, запряженная в одноколку,—а к ним примащивался и я, когда мне трудно было идти за партией пешком.

Теплый летний день, и с ранняго утра начала формироваться партия. Долго тянулась процедура проверки людей и особенно выданных им казенных вещей, и, наконец, при ласковом ярком солнечном свете, партия двинулась к перевозу через Енисей. Весь длинный поезд наш замыкался несколькими подводами с больными и слабыми чле-

нами партии и с общим партийным „бутарем“—багажем. Картина дополнялась обильным конвоем, окружавшим весь наш кортеж. Интерес к новым местам, теплый летний день, свежий полевой воздух, опьянявший наши тюремные легкия, очаровательный и величественный Енисей,—все это настраивало на особый радостный лад, и мы далеки были от тюремных интересов и психологии заключенных...

Вот и перевоз—самолет, многими из нас видимый впервые, на мощных волнах Енисея и с него-то, когда мы отошли на средину реки, могли видеть панораму города, в котором незаметно, однообразно прожили восемь месяцев—один миг по тюремному счислению.

Мы—пасынки родины—идем в далекую Сибирь, наше новое отечество, не зная ее, не представляя себе, как встретит, как примет она нас, и что ожидает нас в ее холодных туманах и ветрах. И только много после спустя, на пространстве долгих годов, свыкнувшись с суровой обстановкой ее жизни, мы поняли, узнали и оценили Сибирь и ее обитателей. Нет, Сибирь не была для нас злой мачехой, она приютила нас, приласкала, как родных, и в холоде своих туманов и под покровом снегов с‘умела отогреть наши сердца, замершие от тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю.

Но сейчас, при выходе из Красноярска, мы еще

молоды, полны надежды, и сквозь хмару и туман видимых вдали сопок и падей, нам светят яркие, манящие огоньки надежды, и не смущает нас необычная обстановка нашего пути...

---

7. Иркутск. Знакомство с новыми товарищами.

Мы не спешим. Вернее, нас не спешат. Едем мы втроем: я с Розой и Дзвонкевич.

Дзвонкевич добился-таки отправки с нами, и я делаю ему перевязки его раны, которая идет очень хорошо и скоро заживет совсем. Это обращает на нас внимание, и понемногу мы начинаем слыть, если не за докторов, то все же за причастных людей к медицине. При нас небольшая аптечка— собрание самых элементарных средств. Нередко к нам обращаются за помощью уголовные нашей партии и особенно дети. Но иногда „практика" навертывается и в более высоких сферах.

Однажды был, напр., такой случай: во время одной дневки, под вечерок, мы получаем приглашение от этапного офицера пожаловать к нему на квартиру. Приглашение равносильно приказанию. Нас препровождают с конвоем. Но офицер благодушен, даже любезен, а его жена—сама доброта. Бедняга хватается за нас, как утопающий за соломенку. Ведь по статейным спискам они

знают о нашем причастии к медицине, особенно Розы—она медичка 5-го курса. Оказалось, что трое их маленьких детей, от $1^1/_2$ до 5 лет, болеют глазами. Область паталогии мне мало известная, и я предоставляю поле деятельности моей медичке. Оказывается у всех детишек острая бленнорея глаз в ужасно запущенной форме. Пришлось спасовать перед лицем такого заболевания и вместо помощи ограничиться настойчивой рекомендацией отправить больных, без промедления, в город для серьезного лечения. Пришлось припугнуть неизбежной слепотой всех детишек, если не последуют нашему совету. Но, чтобы убедить в этом, потребовалось много труда, много слов и времени. А чтобы это не было для нас тягостно и чтобы в некоторой мере мы были вознаграждены за беспокойство, нам была предложена легкая закуска и даже с неизбежной выпивкой. Здесь я впервые вкусил здорового сибирского фрукта — черемши. Она была приготовлена вкусно—мелко нарезана и перемешана со сметаной. В этом виде она сохраняет свой вкус и остроту, но почти совсем утрачивает свой чесночный запах.

С нами идет большая семейная партия. Вернее, мы идем при ней. Семейная, это значит смешанная партия, состоящая из мужчин, женщин и детей. Тут есть и женщины—арестантки, но больше добровольно за мужьями следующих жен с детьми, иногда уже на возрасте, напр., девушками 15—18 и более лет.

Какая ужасная школа разврата для девушки и женщины было это этапное передвижение семейных партий! Неудивителен факт, что всякая неиспорченная девушка или женщина могла дойти до конца своего пути только в том случае, если имела своего покровителя. Но и то нередко бывало, что такие покровители проигрывали в карты своих временных сожительниц своим партнерам, и женщина беспрекословно переходила из рук в руки. Какое унижение человеческого достоинства, и как далеки от гуманных целей были наши тюремные порядки!

Но мы в идеальных условиях по сравнению с уголовными. По особому циркуляру министерства, нам всюду предоставлялось особое помещение; нас нельзя смешивать с уголовными из боязни нашего вредного влияния на них. Конечно, мы не были в проигрыше от этого: от нас были скрыты ночные ужасы этапной уголовной жизни и в то же время при желании мы не были лишены общения с ними!

Благодаря нашей подводе, ежедневный переход в 25—30 верст для нас не был обременителен. Развлечением нам служили, кроме идущего впереди нас арестантского кортежа и их часто залихватских, иногда унылых песен с аккомпаниментом кандального звона, и другие дорожные эпизоды. Не надо забывать, что при отсутствии еще великого сибирского жел. дор. пути, всю Сибирь пересекала единственная дорожная артерия — ши-

рокая „Владимирка“. С представлением о ней издавна сочеталось понятие о кандальных арестантских партиях, а теперь, вечно видя ее перед собой и слыша ее тяжелые вздохи, так ярко сказывающиеся хотя бы в той же „Милосердной“, забываешь, что она может быть предназначена и для чего-нибудь другого...

Если ты странствуешь, путник,
С целью благой и высокой,
То посети, между прочим,
Край мой далекий...

Невольно приходят в голову слова сибирского поэта и далее:

Нет там пустых истуканов,
Вздохов изнеженной груди:
Там только люди да цепи,
Цепи да люди...

Но что особенно нас радует, а часто прямо приводит в восторг, это — летняя сибирская природа. Такой красочности, такого разнообразия в дарах природы нам, городским жителям, видеть не приходилось. Какие могучие леса, какие роскошные полевые цветы, целые газоны, целые поля диких, ярких, радующих цветов! Мы часто останавливаем наш конвой, часто рвем целые букеты, упиваемся их ароматом, и нам дорого это особенно потому, что вот уже больше двух лет

мы не были в поле, не видели цветов и настоящей, такой пышной, свежей зелени!

А раскинутые по нашему пути пригорки, сопки и долины с их рододендронами и целыми полями лилий, они еще ярче оттеняют богатство и прелести растительного царства, и нет сил оторвать глаз от этого сочетания живой и блещущей флоры с истинно красивыми, подчас причудливо красивыми и живописными картинами природы.

Здесь же впервые нам пришлось увидеть и одного из красивейших представителей животного царства Сибири — козулю (дикая коза) — правда, в самый трагический момент ее жизни. Красивый козел—по сибирски „гуран"—с гордо поднятыми ветвистыми рогами не ожидал печальной встречи с нашим конвоем. Он спокойно, не предвидя опасности, вздумал перейти дорогу саженях в 300 впереди нашей партии. Его не пугал звон цепей, или он его не слышал, и меткая пуля одного из конвоиров пробила его сердце. Козел сделал огромный прыжок и замертво свалился по другой стороне дороги.

Мы часто полулежим в нашей телеге и радуемся, что двигаемся так медленно, шагом. Спешить нам решительно некуда, а красоты природы, опьяняющий аромат лесов и цветов пьянит, очаровывает нас, и мы далеко уходим мыслью от неприглядного настоящего, от неведомого будущего...

И кажется нам, покрайней мере, нам с Розой,

что, невзирая на всю тяжесть переживаемого момента, несмотря на два с лишним года тюрьмы, уже висящих за нашими плечами, и на многие предстоящие годы таковой же впереди,—мы переживаем наше счастливое время... И, несмотря на всю парадоксальность такого представления, для меня оно так и было на самом деле...

Вот навстречу нашей партии, с звонкими колокольчиками под дугой, мчится тройка лошадей. Поровнявшись с партией, ямщик задерживает тройку и едет шажком. Мы видим, что в почтовом тарантасе сидит пожилой господин с очень интеллигентным лицом, обрамленным большой седой бородой. Он заинтересован партией, но его лицо выражает уже явное изумление, когда его взгляд останавливается на нашей группе. Он торопливо вынимает из кармана портсигар и одну за другой бросает в нашу телегу дорогие сигары. Что это? Молчаливый знак сочувствия? Но чему? Нашему ли положению или нашей идее и нашему делу?

Так, медленно, подчас тяжело, но и счастливо, тихо, но верно мы приближались к Иркутску — этой столице Сибири. Город нас занимал мало; мы знали, ведь что его нам не покажут, а отведут нас прямо в тюрьму, где-нибудь на окраине. Но мы знали также, что в Иркутске в это время пребывали вывезенные из Кары — Ковалевская, Ковальская, Кутитонская и Россикова, и для нас было важно во что бы то ни стало добиться с ними

свидания. Смотритель тюрьмы, явившийся вскоре после нашего приезда, оказался довольно воспитанным, довольно интеллигентным человеком и, как поляк, на столько любезным, что был готов удовлетворить все наши законные просьбы. Он понял, как важно было для нас общество товарищей и не протестовал против нашего желания видеться с ними. Но поместить нас на одном коридоре с ними оказалось невозможно, и мы заняли камеру, отделяющуюся от них капитальной стеной. Но окна всей этой старой тюрьмы выходили на общий двор, и мы во время прогулок могли свободно разговаривать с нашими соседями.

Все они представляли для нас значительный интерес. Это были сознательные деятельницы еще старого бунтарского настроения юга России и далеко не безызвестны в истории революционного движения.

Марья Павловна Ковалевская, урожденная Воронцова, сестра старого д-ра экономиста В. В. представляла несомненно наибольший интерес. Принадлежа к старой школе русских бакунистов, она, как и ее товарки Ковальская и Россикова, не отступала от своих принципов и во всю свою долголетнюю тюремную жизнь, несмотря на то, что это часто вносило много раздора в артельную жизнь женской тюрьмы и служило иногда причиной крупных и подчас непоправимых недоразумений.

Сейчас она, благодаря хлопотам с воли и частью

собственными усилиями, добилась того, что ее возили для свидания с родными в Енисейскую губернию и на возвратном пути оставалась в Иркутске по болезни и отдыхала, как от невольного общежития, которое в тюрьме подчас бывает горше одиночного заключения, так и от тяжелого этапного пути. Она не прожила в Иркутске долго и, кажется, года через два после нашего проезда, вновь была привезена на Кару. На волю, к которой так рвалась ее душа, она так и не попала. Ее захватила карийская трагедия 1889 года и вместе с Сигидой, Калюжной и Смирницкой она кончила жизнь самоубийством...

Елизавета Николаевна Ковальская была косвенной причиной только что упомянутой трагедии, так как глупо совершонный, насильственный увоз ее ночью из тюрьмы, правда, согласно ее желанию и требованию, и в значительной мере раздутый и приукрашенный, послужил началом тех волнений в женской тюрьме, которые кончились так ужасно и так плачевно.

Россикова, когда-то игравшая немаловажную роль, участвовавшая в предприятии Юрковского (Сашка-инженер — подкоп под херсонское казначейство), очевидно уже в описываемое мною время была в начальном периоде своей душевной болезни. Здесь, в Иркутске, мы ее не видели, она нам не показывалась. Узнать мне ее пришлось уже вполне душевно-больной в тюремном лазарете на Каре в 1891 году, где я работал короткий

срок моего пребывания в вольной команде. Здесь она проявляла все признаки тихого помешательства с оттенком некоторой аггрессивности. Так она и закончила свое существование, увезенная, кажется, вновь в Иркутск, не выходя из представлений ее мании величия.

Кутитонская, несчастная молодая девушка, еще в 82 году окончила свой небольшой срок и вышла на поселение в Забайкальскую область. Но скоро она узнала о разгроме карийских тюрем в том же году после массовых побегов, известном под именем „майского погрома“. Начало этому было положено еще в период „диктатуры сердца“, при Лорис-Меликове. Внутри России все, казалось, готовилось к расцвету, надежды распускались, как первые весенние цветы, все хотело выйти из мрака, тянулось к свету, к свободе... Только на далекой окраине, на Каре, крепчал больше и больше каторжный режим, и политические каторжане чувствовали на себе тяжелую руку диктатуры сердца. Побеги задуманы были раньше; теперь они осуществились, что, казалось, окончательно неизбежным после того, как в России грянул гром 1-го марта. Конечно, они не удались, и за ними последовали обычные репрессии. Военный губернатор Ильяшевич сам руководил и осадой тюрем, и их избиением, и следствием, и расправой. Очевидцы рассказывали, что происходило что-то ужасное. Достаточно указать, что только в ожидании этих репрессий тюрьма ре-

шила сжеч себя со всем инвентарем живым и мертвым. Это не удалось благодаря утомлению, а быть может и измене... От великого до смешного—один шаг, так и здесь: страшное решение принято, но молодые жизни хватаются за кусочки ее, за ее атомы, не хочется приводить решение в исполнение, пока осталось еще хоть минута существования. И следят день и ночь часовые за осаждающими, не сделают ли попытки ворваться, чтобы при первых признаках—поднять на ноги все население тюрьмы, усталое и спящее, и броситься к приготовленным кострам... Но усталость берет свое, часовые не слышат наступления и сами просыпаются лиш под градом ударов и выстрелов... И пошла потеха, привычная у нас по отношению к внутреннему врагу...

Бедная молодая девушка узнает обо всем этом уже post factum. Она еще недавно из тех мест; у нее свежи воспоминания об этих доселе почти незнакомых, а теперь таких близких, таких родных людях. Она одинока, у нее нет ни одной родственной души, нет родины и родных, вблизи ее только холод Сибири, и все, что дорого и близко, оставлено там, откуда идет молва об этих ужасах. И у нее, в глубине ее души, вершится какой-то трагический переворот. Во всем виноват он, этот властный и обозленный человек, этот военный губернатор области. И он, как-раз кстати, едет не то на ревизию, не то на прогулку в тот город, в округе которого она живет и так стра-

дает (г. Акша). Решение созрело, она должна стрелять в генерала Ильяшевича; ей вовсе не надо убить этого человека: бессознательно она знает, что Ильяшевичей, всегда готовых на такой же акт, много; нет, ей нужен выход ее собственному напряженному состоянию, ей нужно, чтоб и другие хоть в сотой, тысячной доле почувствовали то, чем она живет в данную минуту, чтобы всплыло дело о карийских ужасах перед лицом общественного мнения. И она едет в город, никому о том не заявив, никого не спросившись, встречает ненавистного ей генерала и стреляет в него почти в упор. Дальше всякому понятно, что должно было быть. Кутитонская арестована, заключена, почти замурована; потом ее судят, снова приговаривают к каторге и держат в разных тюрьмах. Но и необыкновенное, только что пережитое потрясение, и непередаваемо тяжелый режим, доставшийся на долю молодой девушки, подрывают в конец ее силы, и без того недостаточно крепкие. И мы застали в Иркутске эту миловидную, худенькую, белокурую Кутитонскую уже непоправимо больной. Она и умерла там от туберкулеза весной 1887 года.

Настоящих свиданий с нашими соседками мы так и не получили, но во время прогулок перед их окнами мы могли беседовать с ними по целым часам. Разговоры шли главным образом с Марьей Павловной; ей было интересно все, что мы могли рассказать ей о жизни на воле; ведь сравнительно

мы так недавно еще пользовались таковой. Нам же нельзя было найти более осведомленного источника о жизни на Каре и об ее порядках, чем она. Да и местные, иркутские злобы дня не ушли от нашего внимания. Так, напр., мы узнали от нее, что Иркутск того времени еще не забыл только что происшедшей драмы с Неустроевым. Неустроев, якут по происхождению, человек с университетским образованием, и несомненно прогрессивно мыслящий, учитель, кажется, женской гимназии. Его замешали в какое-то дело местной организации, которые тогда росли как грибы и обыкновенно ничем не кончались. Арестованный Неустроев сидел и томился в одиночке, не имея понятия, в чем его обвиняют и только чувствуя, что с этого момента начинается полный разгром и переворот во всем укладе его жизни. И надо же было в это время генерал-губернатору Анучину посетить тюрьму. Зашел он и в камеру Неустроева, и у него хратило бестактности обратиться к заключенному с какими-то оскорбительными словами на тему о его молодости и порученного ему наставничества юношества, на которое он, яко-бы, действует развращающе. Словом, задел взволнованного, неуравновешенного, обиженного и самолюбивого инородца в такой мере, что тот поддался рефлексу и оскорбил Анучина действием. Его, конечно, судили немедленно, приговорили к смерти и быстро расправились с человеческой жизнью.

Все общество было крайне взволновано проис-

шедшим, всецело стоя на стороне Неустроева, в виду непопулярности генерал-губернатора, и ожидало, что в своей конфирмации он, по крайней мере, пощадит жизнь осужденного. Но Анучин считал свою физиономию стоящей больше, чем жизнь человека.

Неустроев был растрелян.

Повторяю, эпизод этот был еще очень свеж, и иркутское общество еще волновалось и бойкотировало, насколько можно, своего генер.-губернатора. Скоро он и должен был оставить свой высокий пост, и слухи о нем для Сибири совершенно замолкли.

Беседы наши продолжались, пока не наступил неожиданный крах. Но прежде расскажу еще один комический эпизод, происшедший во время нашего разговора и характеризующий саму Ковалевскую.

Проходит однажды мимо нас молодой прапорщик, конвойный начальник, очевидно только что выпущенный из училища. У него были такие свежие погоны, такие светленькие пуговицы и такие маленькие, маленькие усы... Прошел он и второй раз, зорко поглядывая на нас. И вдруг, обращаясь к окну Марьи Павловны, он говорит: „не сметь разговаривать!“—Опытная в тюремной жизни наша собеседница не обратила ни. малейшего внимания на слова офицерика и, как бы отмахнувшись, словно от назойливой мухи, продолжала разговор. Они говорили с Розой по французски, что, пови-

димому, еще больше волновало прапорщика. По крайней мере, проходя снова, он еще настойчивее потребовал не разговаривать, да еще на иностранном языке. А когда и это не привело ни к какому результату, он, рассвирепев, привел солдата со штыком, поставил его перед окном М. П-ны и заявил:—„Молчите, или я прикажу вас колоть!“

Этого уже было слишком для М. П-ны! Она выдвинулась между решетками окна насколько могла, почти до пояса, и энергично воскликнула:—„Колите!“—Офицер отступил. Тогда, не меняя позы, она заявила ему в догонку:—„Вы, г. офицер, и молоды, и глупы! Прежде чем наряжаться в тогу величия, следовало бы знать, с кем вы имеете дело!“

Офицер ретировался с позором и сконфуженный, а мы еще продолжали разговаривать, пока не кончилась наша прогулка.

Но вот грянул и гром. Утром, часов в девять, нас удивил на поверке унылый вид смотрителя, который обычно сам на поверках и не участвовал. А еще через час или два мы узнали, что неизвестно каким путем из своей камеры, оказавшейся закрытой, бежала Ковальская. Одновременно совершен побег двух или трех уголовных, среди которых один—приговоренный к смертной казни—грек Петратис. Начальство тюрьмы было поражено: камера Ковальской все время была па запоре отворялась только рано утром для уборки, и в это

время ее обитательница мирно почивала, а к поверке, вместо нее, на кровати оказалось чучело.

Если исключить соучастие в побеге надзирателя, оставалось только одно предположение— бежала через окно. Соучастие надзирателя представлялось очевидной невозможностью по многим причинам, осмотр же оконной решетки никаких из'янов в ней не показал, разве кроме очень широких ее пролетов. Не могла ли Ковальская вылезти через них? И вот, выискивается мальчуган, подходящий к ней по росту и комплекции. Его заставляют употребить все усилия, чтобы пролезть через решетку. Но нет, даже и этот гибкий мальчишка не мог проскочить между железными прутьями. Очевидно, сам демон участвовал в побеге Ковальской! Скоро она была поймана и вновь водворена в тюрьму, но способ ее побега и для нас открылся только впоследствии. Как и все неожиданное и ловкое, и этот побег был совершон крайне просто. Заранее было приготовлено платье надзирателя, заранее приготовлено чучело. Только в назначенный час, когда для уборки дверь была открыта, в соседней камере, у М. П. Ковалевской, произошел пожар, и надзиратель, на момент должен был бросить камеру Ковальской открытой и бежать на помощь к Ковалевской. Этого момента и было достаточно, чтобы Ковальская могла выйти из камеры и временно скрыться в корридоре, во дворе и пр., чтобы потом пройти мимо часового в качестве надзирателя.

Все это произошло в самом конце нашего пребывания в Иркутске. После месячного отдыха нас отправили дальше. Дзвонкевич уже давно уехал, но к нам присоединили надолго задержавшуюся по болезни в дороге Анну Васильевну Якимову. Не могло быть ничего приятнее для нас этой компании, так как нельзя было не любить и не привязаться к этой милой, всегда ровной, рассудительной женщине, прекрасному товарищу.

И вот однажды, рано по утру, мы уселись в предназначенную нам телегу, все трое, и скоро присоединились к нашей партии. Опять перед нашими глазами арестантская колонна, опять кандальный звон и опять неизменный партийный запевала—„Вакула-кузнец".

Сколько помню, до Байкала мы добрались довольно быстро, кажется, в один, два дня и провели день в Лиственичном, в ожидании парохода, который должен был перевезти нас на другую сторону озера-моря,—в Мысовую.

Этот этап в с. Лиственичном памятен мне до сих пор. Ничего ужаснее в смысле скученности на одном тесном замкнутом пространстве людей всех возрастов и без различия пола, я до сих пор еще не видал. И наша изоляция от уголовных сошла на нет, оказалась здесь фикцией. До изоляции ли тут, когда каждый вершок пола на всем пространстве этапа занят человеческим существом. Днем еще люди кое-как могли бродить по двору, хотя частями, но с наступлением вечера, когда

все оказывались под замком, получалась такая насыщенная атмосфера, такое отсутствие воздуха, что временами надо было отдышаться у форточки, которую люди чуть не брали с боя. Достаточно сказать, что две или три огромные „параши“, уже давно переполненные отбросами человеческого тела, не могли вместить в себя новых прибавлений этих отбросов, и они переливались через края сосудов, расплывались по полу, повсюду занятому спящими полуголыми людьми, и орошали их тела, одежду и насыщали их дыхание зловонными испарениями... Это что-то ужасное! И мы были рады выбраться из этого ада, когда в 4 часа ночи нас повели на пароход.

Но нам не повезло и тут.

Обычно нашего брата, вероятно из некоторой деликатности к нашему состоянию, помещали в классные каюты, когда они оказывались свободными. А на арестантских пароходах они бывали свободны всегда. Но на этот раз на наше несчастие все классы парохода были заняты свитой только что назначенного, тогда еще первого генерал-губернатора Приморской и Амурской областей—барона Корфа, который и переправлялся через Байкал на нашем пароходе. И оказались мы без места: все трюма переполнены арестантами и все классные каюты—генералитетом. В 4 ч. ночи нас поставили на корму пароходной палубы у самого руля, без какого либо прикрытия. Морозная сентябрьская ночь на Байкале и пронизывающий

сырой ветер скоро довели нас до того состояния, что мы, прижавшись друг к другу, стали понемногу замерзать.

Но ведь мы были в некотором роде государственной собственностью, и за нашу погибель пришлось бы кому-нибудь отвечать, а может быть, у кого-нибудь и проснулось человеческое сострадание, словом, заметили наше отчаянное положение и решили перевести нас в... машинное отделение, у самой топки котлов, температура которого, насыщенная машинным маслом и гарью, была похожа на температуру бани. Здесь мы, с разболевшимися головами с непривычки и от контраста с только что испытанным морозом, оставались, пока пароход не отчалил от берега. Тогда мы уже считали себя вправе просить немного свежего воздуха, просить выхода на палубу, хотя бы в том соображении, что в нашем распоряжении для побега по волнам Байкала не было даже „омулевой бочки“...

И мы были выведены на палубу и усажены на скамейке подле пароходного котла. Тут мы и просидели рядком, пока наш пароход не подошел к ст. Мысовой (ныне г. Мысовск).

Но и тут не обошлось у нас без инцидента, немало нас взволновавшего, о котором не могу не рассказать сейчас, тем более, что для меня он имел небольшие и, правда, скорее комические последствия.

Как я сказал выше, с нами ехал барон Корф.

Он занимал место в классе справа от нас; против же нас были расположены, как всегда на старых пароходах, по борту, отдельные помещения—умывальная, уборная и пр. Мы видели, что из класса к уборным и обратно неоднократно проходил какой-то генерал. Правду сказать, нам было совсем не до него, да и не предполагали мы, что это сам ген.-губ. бар. Корф. Но вот, во время одной из таких прогулок, он делает крутой поворот и направляется к нам. Мы встали и с интересом ожидали, что произойдет дальше. Корф прямо подошел ко мне и, глядя строго в упор, заявил буквально следующее:

— Я не успел еще перейти границ моих владений, как вы уже оказываете мне неуважение.

Должно сознаться, я опешил и растерялся от неожиданности. Но Роза быстро сообразила в чем дело и довольно определенно заявила, что нас никто не обязал и не мог обязать становиться во фронт перед каждым генералом, проходящим мимо нас.

— Не с вами говорят,—грубо отрезал Корф в ее сторону и, вновь обращаясь ко мне, опять заговорил на тему о нашем бесправном положении и необходимости поэтому подчиняться власти, которая в лице его, Корфа, может оказаться для нас не очень благосклонной. Но Розу было остановить трудно, да и мы с Анютой уже вышли из состояния изумления, и наш общий голос, указывающий, что уж в области-то почтения мы всегда

были и есть люди свободные, не взирая на наши арестантские костюмы, дал понять этому новому владетельному принцу, что его выпад оказался недостигающим цели.

— Отдать их под особо строгий надзор!— громко провозгласил он и, повернувшись, быстро ушел на мостик.

Нам осталось переживать полученные впечатления и гадать, в чем скажется только что происшедшее столкновение.

Скоро пароходный свисток об'явил нам о прибытии на ст. Мысовую, а кто-то из ад'ютантов Корфа быстро записал наши имена.

Как бы то ни было, мы уже в Забайкальской области, где судьбою мне было предназначено прожить очень и очень долго, и которая поэтому стала моей второй родиной.

---

8. Забайкальская область. Конец пути.

Сидя на этапе в Мысовой, мы продолжали еще обсуждать инцидент с Корфом, за неимением других интересов и впечатлений, и готовились воспринять „особо строгий надзор“ генерал-губернатора.

Но гора родила мышь.

Вскоре и незадолго до нашей отправки, в нашу камеру вошли два этапных офицера — только что нас сюда препровождавший и долженствующий препроводить нас дальше. Этот последний, с улыбкой к нам, заявил:

— Вы отданы под строгий надзор, но, по совести, обсудив этот вопрос, мы думаем, что строже держать вас, чем вы содержитесь, нет возможности, вести вас дальше, чем вы идете — некуда, и потому мы решили оставить все так, как было раньше, и рекомендуем вам подзакусить и понемногу собираться в дальнейший путь.

Эта здоровая и человеческая речь, конечно, была нам по душе, и мы вполне последовали совету офицеров.

Но это мое личное знакомство с бар. Корфом маленькое последствие для меня все же имело.

Просидев после этого на Каре лет 5-ть или 6-ть, я все еще, к сожалению, не имел права выхода в вольную команду. Между тем, наш комендант, очень недалекий, но в сущности добрый, ротмистр Масюков, мой постоянный пациент, задумал отблагодарить меня ходатайством о неурочном выпуске меня в вольную команду. С этой целью он хотел использовать ближайший приезд через Кару генерал-губернатора. Собирался ли он сделать это немного позднее или вообще побаивался поднимать этот вопрос перед высокой властью, только его предупредила наша женская тюрьма, куда Корф в это свое посещение попал в первую голову. Там ему сделали заявление, что, за смертью д-ра Веймара, которому было разрешено посещать женскую тюрьму, и за полной невозможностью пользоваться услугами официального военно-тюремного врача,— его просят разрешить мне хотя изредка посещать их для подачи медицинской помощи всем обитательницам тюрьмы, очень часто нуждающимся в таковой. Тюрьма при этом, конечно, имела в виду и облегчение сношений с мужской тюрьмой, часто очень затрудненных и дорого стоящих. Вот тут-то наш комендант и осмелился присоединить свой голос и, находя вполне справедливой просьбу тюрьмы, полагал бы более целесообразным для этого перечислить меня в разряд вне тюремных обитателей, т.-е. выпустить

меня в вольную команду, хотя я на это еще не получил права.

Бар. Корф, повидимому, согласился с этими доводами и уже хотел дать на то свою санкцию, да спросил фамилию того лица, о котором идут хлопоты. А это совершенно испортило дело, и когда Масюков назвал ему меня, Корф заявил:

— А! я помню это имя. А если я его помню, то это наверно какой-нибудь негодяй!

Тем и кончилось это предстательство за меня нашего коменданта, о чем я, конечно, узнал только много позже.

Но как характерна эта знаменитая в своем роде фраза генерал-губер-ра. Неужели он помнил только о негодяях, или всю жизнь сталкивался только с таковыми!

В дальнейшем путь до Читы не ознаменовался для нас ничем знаменательным. Только по приезде в В. Удинск для нашей дневки не оказалось помещения, и нам пришлось устроиться при городском полицейском управлении, почти под надзором его сторожа—старого клейменного каторжника. Это было даже немного странно и необычно, особенно принимая во внимание очень серьезные строгости уже пройденного пути, с одной стороны, и все же имевшуюся среди нас вечную каторжанку и одного долгосрочного—с другой. Но уж таковы были тюремно-полицейские нравы и повадки того времени в далекой Сибири, впоследствии, кажется, радикально изменившиеся.

И вот мы в полицейском управлении, во 2-м этаже каменного дома, выходящего на базарную площадь. Мои дамы располагаются в большой и светлой комнате—ожидальне, а я таскаю на себе туда же наши мешки с одеждой и с'естными запасами,—наш „бутарь“. В это время во двор в'езжает пара вороных дышловых лошадей с молодым, красивым седоком, обладающим большими и красивыми черными усами. Он быстро соскакивает с тележки и поднимается по той же лестнице, по которой и я таскаю наш багаж. Когда я, почти следом за ним, вхожу в назначенную нам комнату, я вижу там этого господина, непринужденно болтающего с моими дамами. Оказывается, это д-р К., заехавший к нам, чтобы лично осведомиться о характере нашего столкновения с генерал-губернатором на Байкале. В В. Удинске, задолго до нашего приезда, распространился слух об этом столкновении и притом в несколько преувеличенных красках. Рассказывали, что мы дерзко отнеслись к Корфу, заявили ему, что у него на лбу не написано, что он генерал-губернатор и что мы его не хотим знать. По совести, такого заявления с нашей стороны сделано не было.

В октябре мы, наконец, прибыли в Читу. И здесь, отчасти по болезни, отчасти по усталости — мы прожили несколько больше месяца. Не то, чтоб обстановка нашей жизни была достаточно культурна и привлекательна; конечно, далеко нет: чрезвычайно тесная, старая, прогнившая тюрьма,

необыкновенная трудность добывания провизии и приготовления себе пищи; отсутствие какого бы то ни было общества и книг — все это не могло представляться нам сколько-нибудь заманчивым. Но боязнь уже наступивших холодов и наше несовсем-то крепкое, ослабленное здоровье заставляло с недели на неделю откладывать наше дальнейшее путешествие.

Большую отраду доставляли нам, правда, очень редкие посещения товарищей — читинцев. Умели как-то проникнуть к нам, время от времени, Фанни Абрамовна Морейнис, уже отбывшая свой короткий срок каторги, и Леонид Эммануилович Шишко, судившийся по так называемому „большому“ процессу 193-х лиц и тоже вышедший уже на поселение и живущий в Чите.

Не мало было бы можно рассказать об этой в высокой степени выдающейся личности, проведшей в кристалльной чистоте всю свою жизнь и оставившей глубокий след в современном движении. Но для его точной и сколько-нибудь полной характеристики нужно более умелое перо, и он, конечно, дождется со временем своего достойного биографа. Я же смогу здесь лишь кратко и бегло отметить некоторые внешние черты его жизни.

Мы застали Леонида Эммануиловича уже втечение нескольких лет окончившим срок его каторги; вместе со своим сопроцессником Союзовым он основал в Чите столярную мастерскую, и сам превратился из бывшего артиллерийского офицера

в столяра. К сожалению, он так сильно страдал глазами, что его всегдашнее стремление к научной деятельности пока не могло быть удовлетворено.

В надежде поправить глаза, он перевелся в Томск, но и там получил только слабое облегчение. Здесь все-таки он уже мог часть своего времени отдать литературному труду, но главный расцвет его мысль, его деятельность получили только с от'ездом заграницу, куда ему удалось бежать после довольно долгого пребывания в Томске. Заграницей прежде всего Л. Эм. поправил свои глаза настолько, что они уже не мешали ему работать; затем он становится секретарем знаменитого Элизе Реклю и остается таковым в течение долгого времени, кажется, вплоть до смерти Реклю. Одновременно он занимался и собственными историческими и социалогическими работами. Его перу, между прочим, принадлежит краткое, популярное и талантливое изложение русской истории с освещением всех исторических фактов с совершенно правдивой, далекой от официальной, точки зрения. Вскоре Л. Эм-ч принимает более живое участие в партийной жизни, и на ряду с М. Раф. Гоцем может считаться основателем партии социал.-революционеров, частию продолжающей чисто народнические заветы „Народной Воли“.

В краткий период наших свобод, в 1906—7 гг., он нашел возможным даже на короткий срок приехать в Россию, но быстро начавшаяся реакция вынудила его вновь оставить пределы родины;

он опять выехал заграницу, где и скончался в 1910 году.

В конце нашего пребывания в Чите прошла на Восток партия, при которой шли Григорий Михайлович Фриденсон и И. П. Емельянов. Оба они на одни сутки остановились у нас, что доставило нам не малое удовольствие. Теперь мы уже были достаточно оторваны от живого мира, и все идущее из глубины России, хотя и через фильтр тюрьмы и этапов, возбуждало в нас живейший интерес. Можно себе представить, с каким захватывающим вниманием мы следили за рассказами новоприбывших, с каким азартом допрашивали их о всех мелочах жизни в оставшейся за ними родине, и как много дали нам эти короткие часы общения с людьми, казалось, так недавно оставившими пределы России!.. А они, эти лица, были небезынтересны. Оба они судились за год до нас, вместе с нашей Анютой Якимовой (процесс 20-ти в 1882 г.). Фриденсон был прекрасный, всегда отзывчивый товарищ, и с ним мы были неразрывными друзьями во все последующие годы тюрьмы, поселения и частью вольной, свободной жизни. Человек всегда трезвого, здорового ума, безукоризненно последовательный в своем мировоззрении, он не был лишен определенного влияния на окружающих и мог всегда морально поддержать слабеющего товарища. Обладая даром слова и убеждения, Григорий Михайлович нередко выводил многих из сомнительных

положений, и его умение быстро ориентироваться в довольно сложных положениях и уменье воздействовать на влиятельных людей позволяло ему многих устраивать и материально. Многосемейному, ему самому приходилось работать много, иногда браться за незнакомые и мало свойственные его характеру дела, но он всегда оказывался на высоте положения и, не падая духом, выходил сам и выводил других на более широкую, более просторную дорогу. К сожалению, жестокая и быстрая болезнь пресекла рано его жизнь, и я не могу не пожалеть глубоко об этом милом и дорогом товарище-друге.

Совсем в другом роде был Емельянов, насколько я его знаю. Это страшно крепкий и сильный физически человек, чуть не саженного роста, с небольшой сравнительно головой, сидящей на широких плечах. Он был прямым олицетворением культа физической силы, атлет по сложению и всегда сосредоточенно спокойный по внешности. Его биография своеобразна и интересна. Он сын посольского дьячка и потому много и долго жил за границей, преимущественно во Франции. Каким-то образом он был одновременно и воспитанником Н. Ф. Анненского, и был близок со всей окружающей их литературной семьей. Судился он как непосредственный участник дела 1-го марта 81 г. и не попал в первый процесс первомартовцев только потому, что не был своевременно разыскан. Из одного очень компетентного источника

я знаю содержание его показаний; они характерны. В начале он пишет, что он такой-то, такогото происхождения, воспитывался там-то и пр., что он никогда не слыхал о каких-то партиях революционеров и народовольцев и потому не мог разделять их, ему неизвестных, стремлений; что, вообще, он считает свой арест недоразумением, как человека, даже никогда не интересовавшегося революционными и социалистическими учениями. Так, приблизительно, говорит первая половина листа его показаний. За ней там же, но под новой датой, следует: Я, Иван Емельянов, есть тот самый третий метальщик бомбы 1-го марта, который должен был действовать своим снарядом, если бы предыдущий удар Гриневицкого оказался неудачным. Я первый подошел к окровавленному госу дарю и, со снарядом под рукой, оказал ему первую помощь, пока не подошла к нему разбежавшаяся было его свита. После этого я благополучно удалился и в условленном месте сдал свой снаряд.—Эти два резко противоречивые показания на одном и том же листе об'ясняются очень просто. Арестованный по случайному поводу, он с'умел настолько отстранить от себя всякое подозрение, что прокуратура была уже готова совсем его освободить. Но как-раз в это время прокурор Добржинский случайно вспомнил уже забытое показание Рысакова о третьем бомбометателе, сыне посольского дьячка, по имени Пантелеич. Это бы-

ла достаточно сильная улика, и Емельянов не нашел возможным скрываться долее.

В дальнейшем Емельянов прожил с нами на Каре до 1890 г. и вскоре, после пережитых тогда ужасов, устрашенный тяжелыми перспективами, решил отказаться от всего прошлого, притворился раскаявшимся и подал прошение о помиловании. Скоро он был водворен на жительство в Хабаровск, стал там домовладельцем, чуть не „отцом города", и жил вполне и исключительно обывательской жизнью. Не так давно прошел слух о его смерти.

Остановлюсь еще на одном эпизоде этого времени. При читинской тюрьме была и больница, которой заведывал некий д-р Хруль. Жалкая больница, но и не менее жалкий по отношению к своим обязанностям доктор! Больница состояла из небольшой комнаты в том же общем тюремном дворе и была переполнена сыпно-тифозными больными. Они лежали не только на койках, но заполняли своими телами весь пол, лежали почти друг на друге. О лечении их не могло быть и речи, когда мало заботились и об их кормлении. Бедняги умирали, как старые псы под забором, и очищенное место быстро заполнялось новым кандидатом...

Д-р Хруль был недаром полицейский врач. Он очень боялся сыпного тифа. Он видел, что помочь тут ничем не может и решил или вовсе не посещать больницу, или бывать в ней как

можно реже. Это, конечно, дело его совести. Но допустить до такого состояния больницу, не принимать никаких мер хотя бы к локализации эпидемии, распустить тюремный сыпной тиф в такой мере,— это непростительно для врача, хотя бы и полицейского.

Однажды, за неделю до нашего от'езда, явился к нам один из этих несчастных обитателей больницы. Потеряв надежду дождаться официальной врачебной помощи, он пришел за таковой к нам, прослышав о нас от наших пациентов. Но что могли мы сделать для этого несчастного, чем могли ему помочь в наших условиях? Мы его осмотрели подробно и пришли к заключению, что имеем дело с сыпным тифом. Конечно, это не было утешением для бедняги, и он отправился в свою больницу, вероятно, умирать.

Дольше оставаться в Чите было невозможно. На нас уже косо посматривает начальство и, не взирая на наступившие трескучие морозы, какими отличается Забайкалье в ноябре месяце, мы решили двинуться в дальнейший путь вдвоем с Розой. Анюта Якимова осталась еще в Чите.

И вот, в определенный день, недели через две после от'езда Фриденсона, мы выходим за ворота тюрьмы. Обычная картина подготовки партии к отправке. Оканчивается перекличка и переосмотр казенной одежды. Две полураздетые фигуры прыгают с ноги на ногу от ужасного холода на подушке, какой-то сердобольной душой подложен-

ной под их босые ноги. Это арестанты, промотавшие все свое казенное имущество; в наказание их выдерживают на морозе, пока после переклички не снабдят какой-нибудь одеждой. В дальнейшем их ждет еще неизбежная за промот вещей порка...

Наконец, все в порядке, и мы двигаемся в путь, на этот раз оказавшийся поистине тяжелым. Действительно, до сих пор нам не приходилось еще испытать такие муки, какие выпали на нашу долю на этом, сравнительно коротком пути, от Читы до Нерчинска.

Как живо вспоминается каждый штрих, каждое слово, каждое движение этого периода нашего пути! Словно все происходило только вчера и оставило по себе неизгладимое впечатление! А ведь прошло с тех пор уже около 40 лет!

Наши испытания начались с первого же дня, и я постараюсь изложить все последовательно, по возможности не пропуская ни одного существенного штриха.

Наша партия оказалась огромной—больше 300 человек мужчин, женщин и детей. Наш первый этот этап—от г. Читы до д. Кручина—мы путешествовали страшно долго. Мы могли добраться до этапного здания только поздно вечером. Усталые, замерзшие, голодные арестанты кинулись занимать места в двух больших камерах, сваливая на ходу друг друга, перескакивая один через другого, с гиком и гамом, словно брали этап

приступом. Третья маленькая камера предназначалась для нас.

Однако же оказалось, что в ожидании партии, как это полагалось, здание этапа и не подумали отапливать. Еще хорошо, что были приготовлены дрова, но, к сожалению, во всем здании была только одна печь в исправности и именно печь нашей камеры. Кроме того, чтобы согреться, необходимо же было и сварить себе какую-нибудь пищу. А на дворе—мороз выше 40°! Здесь и конвой, видя безысходное положение народа, не протестовал, когда, по нашему приглашению, вся партия арестантов перебралась сперва к нашей печке, для изготовления пищи, а потом и на ночлег. Тут было не до пресечения вредного влияния политиков на уголовных! 300 человек разного пола и возраста в одной небольшой комнате—это недурно! Мы двое прижались в углу, но, разумеется, ни об отдыхе, ни о сне в этой ужасной атмосфере нечего было и думать.

Еле дождались утра, кое-как на скорую руку позавтракали и двинулись дальше.

На следующем этапе, где мы должны были передневать, сравнительно все было не так еще дурно, если бы окно в нашей камере было снабжено рамой. Но таковой не оказалось, и мы были вынуждены заставить окно нашими мешками, что, конечно, удалось очень плохо. Пришлось спать не раздеваясь и часто просыпаться с большим куржаком на лице и одежде. Но усталость брала

свое, силы были молодые и спалось нам на этом морозе недурно.

Прошло еще два дня пути, и мы достигли этапа в Турино-Поворотном. Здесь наша камера оказалась с исправным окном; печь соседней камеры выходила в нашу и была снабжена душником. К сожалению, душник был без крышки и затыкался просто куском кирпича. Если представить себе, до какой степени накаливают и затем закрывают единственную печь промерзшие арестанты, чтобы и приготовить пищу для 300 человек, и согреть себя, то будет ясно, каким количеством угара будет снабжена наша камера, и более прохладная и имеющая отдушину печки без крышки.

И мы двое, так же усталые и продрогшие, торопились использовать отдых и рано улеглись спать.

Живо, как сейчас, слышу сквозь сон, как молча поднимается Роза, как она тихо сходит с нар и направляется к запертым на замок дверям. Сквозь сон и дремоту прислушиваюсь к ее шагам и слышу, как она, дойдя до средины камеры, повалилась на пол. Ужас охватил меня и прогнал весь мой сон. Я тотчас сообразил, что она угорела и лишилась сознания, приподнимаюсь, сползаю с нар и чувствую, что моя голова неимоверно отяжелела, а сам я едва держусь на ногах. Тем не менее спешу на помощь к Розе и, потеряв сознание в свою очередь, падаю рядом с ней.

Насколько могу судить, все это происходило уже за полночь, когда все на этапе спало глубоким сном, и спасти нас могла только какая-нибудь случайность. Очевидно, она и не замедлила явиться. Как бы то ни было, мы очнулись в половине следующего дня, с страшной головной болью, на нарах большой камеры, среди уголовных, которые любезно предоставили нам место поудобнее между собою и ухаживали за нами с теплотой и уменьем, диктуемым истинно гуманным чувством. Оказалось, что одна из женщин, успокаивая своего ребенка, проходила по корридору и увидала наши безжизненные тела через окошко нашей двери. Она подняла тревогу, вызвала конвой, что потребовало не мало времени, а остальное в деле нашего спасения взяли на себя уголовные нашей партии. Целый день и ночь мы чувствовали себя больными и не могли оправиться; но новое движение на свежем, морозном воздухе скоро и вполне восстановило наши силы.

Еще день—пути, и мы снова на этапе той же самой конструкции, с той же для нас камерой, но уже с печкой в большей исправности. В виду предосторожности, мы ложимся спать уже не на нарах, а на полу, поближе к дверям, чтобы в случае надобности можно было быстро призвать к себе кого-нибудь на помощь. Отчетливо встают у меня в памяти эти последние моменты перед нашим отходом ко сну. Мы страшно утомлены, а инцидент с угаром накануне, вероятно, все же

оставил следы на нашем физическом состоянии. Чувствовалось, помимо простого утомления, какая-то усталость иного порядка: голова не работала, не хотелось ни о чем думать, и мы были рады предстоящему отдыху в течение ночи. К этому же располагал и сравнительно с другими более чистый и сколько-нибудь благоустроенный этап.

Я рано приготовил постели на полу у стены вблизи двери и, раздеваясь уже, сообщил жене, что у меня почему-то болит немного голова.

— Смотри, пожалуйста, не захворай еще ко всему,— сказала мне Роза.

— Ну, я слишком крепок и здоров теперь, чтобы хворать серьезно,— отвечал я.

И это были мои последние слова, после которых я крепко уснул, чтобы проснуться только недели через три в Нерчинске.

Я сразу впал в бессознательное состояние, температура страшно поднялась, и, издавая по временам тяжелые вздохи, я лежал без движения, как полумертвый. А между тем партии надо было двигаться вперед, меня, если бы я даже и умер дорогой, не имели права где-нибудь оставить: должны были довезти до Нерчинска. А до него, при медленности нашего передвижения, было еще далеко, не меньше 2-х недель.

Много горя перетерпела со мною бедная, милая Роза! Не говоря уже о том, что вынужденная бездействовать в смысле лечения, она должна была взять на себя одну весь уход за мною, как за

тяжелым больным; не говоря о том, что в пути, уложив меня на простые дровни, сама ютилась около меня на тычке, нередко сваливаясь в сугробы снега, ежеминутно рискуя отморозить себе и руки и ноги; не говоря о всем этом, на ее долю выпала тяжелая обуза нередко трудных, всегда неприятных, а подчас трагических об'яснений с этапными офицерами.

Вот, например, сцена в с. Размахнинском. К поверке партии перед отправкой вздумалось явиться самому офицеру в слишком нетрезвом виде. Ведь это царь и бог в его маленьких владениях, и ему подчиняется не только вся команда, которая прямо дрожит перед грозным начальством, но и вся округа. Попробуйте противоречить ему или в чем-нибудь убедить этого владыку; его пьяный разгул не знает пределов и удержа, и безнаказанно он может творить любое беззаконие. Я знаю много примеров этого рода. И таким же типом был Размахнинский офицер.

Когда партия была выстроена и сосчитана, офицер потребовал, чтобы выходили политические. Мои привычные носильщики бросились было в нашу камеру, где их ожидала Роза, совсем готовая в путь. Но офицер прикрикнул на них и приказал солдату привести нас. Вышла одна Роза; она уже предвкушала удовольствие от предстоящей беседы. Ее резонные об'яснения о моей болезни и бессознательном состоянии, благодаря чему я не могу двигаться самостоятельно, были приняты офицером

с ругательствами, с площадной бранью. Наконец был отдан приказ поднять меня прикладами. Солдаты недоуменно идут в камеру и ни с чем возвращаются обратно: — „Так что, арестант лежит без памяти!“ — „Врет! Притворяется! Так его и этак“! И новый приказ поднять его, не жалея прикладов.

Не знаю чем бы кончилось это дело, если бы не случайное и благодетельное вмешательство какого-то несчастного пса, подвернувшегося под ноги свирепому офицеру; он и принял на себя весь пьяный гнев последнего. К счастию, такого тяжелого инцидента больше не повторялось, но и одного его было больше, чем достаточно.

Милая Роза, даже и она, никогда не поддававшаяся слабости, не могла удержаться от слез впоследствии, передавая мне об этом эпизоде, когда мы были здоровы!

Но так или иначе, передвигаясь медленно и с большими трудностями для моей спутницы, мы добрались до Нерчинска. Последний станок был особенно мучителен и настолько длинен, что к городу мы под‘езжали часам к 10 вечера; нашу подводу — дровни с моим полуживым телом и сидящей сбоку женой — подвезли прямо к больнице.

В такой поздний час никого из медицинского персонала в больнице не могло быть, но Роза с величайшим трудом, с присущей ей настойчивостью добилась, наконец, того, что явился доктор. При взгляде на меня и при беглом осмотре он заявил Розе, что она напрасно беспокоится и напрасно

тревожила его, так как у больного ясный отек мозга и он все равно должен умереть. Можно себе представить, как это могло подействовать на нее, но она не растерялась и, наоборот, это придало ей энергии настоять на своем. Она отвечала доктору, что и вызвала его затем, чтобы он, в виду опасного положения, немедленно мог принять энергичные меры. По ее мнению, необходима была ванна, покой, лед на голову, и пр., что, в конце концов, и было применено ко мне.

Между тем надо было решить вопрос о нашем помещении, а таковым могла быть только одна палата, занятая Емельяновым, заболевшим здесь также сыпным тифом, и Фриденсоном, оставшимся при нем в качестве сиделки. Так как по тюремным правилам, хотя и в больнице, нельзя было держать в одной палате здоровых мужчину и женщину, решено было водворить в ней нас, оставить там же больного Емельянова, а Фриденсона отправить в нашей партии дальше. Таким образом один день Фриденсон и Роза совместно ухаживали за мною и Емельяновым. При своем от'езде, Фриденсон, прощаясь со мной, вздумал меня поцеловать. Как-раз в этот момент и всего на один миг, в первый раз от начала заболевания, я пришел в себя, сразу понял, вернее, вспомнил, что произошло со мною, и, обращаясь к Фриденсону, сказал: — „Не целуй меня, заразишься, пожалуй!“ — и немедленно вновь впал в бессознательное состояние.

Решительно не знаю, как долго все это продол-

жалось, не знаю, что со мною делали, какие меры принимали, чтоб сохранить мое существование, но верно только одно: Роза не теряла энергии и уверенности, что поставит меня на ноги, несмотря на невероятную затрату ею сил и, конечно, ничему другому, как ей и ее бдительному, умелому уходу обязан я тем, что остался жив.

Наступил, наконец, момент, когда ко мне стало возвращаться сознание, стала возвращаться жизнь.

Отчетливо помню первый момент этого перехода из небытия к жизни, когда первые впечатления окружающего добрались до моего сознания пока только через посредство органа слуха. В то время как мои глаза были еще закрыты, до моего слуха дошли два голоса. Первый спрашивал: — ну, как ваши дела? На что второй голос отвечал: — у него температура нормальна, но у меня 40°... Так ложитесь, у вас тоже тиф! — Закончил первый голос, и это заставило меня открыть глаза. Я сразу, ни минуты не медля, осмысливаю и оцениваю положение. Я вижу, что Роза действительно больна, настаиваю, чтоб она тотчас же ложилась и, в свою очередь, поскольку позволяли мне силы, начинаю ухаживать за нею, как за больной. Она не теряла вполне сознания, но в некоторой мере оно было у нее затемнено. Ее бредовая идея сосредоточивалась на деятельности ее сердца; ей казалось, что оно слабеет, отказывается работать, останавливается. И для ее успокоения, отчасти в силу собственной тревоги, я ежеминутно подползал к ее постели и

слушал биение ее сердца. Успокоившись сам, я успокаивал и ее, и это действовало на нее благотворно.

Особенно тяжело нам было с ванной. Никакой прислуги нам не полагалось, кроме старика сторожа, бывшего каторжника; о женской нечего было и мечтать. А между тем, войти в ванну собственными силами Роза не могла, так она ослабела за этот месяц борьбы за мою жизнь.

Я тоже был слаб на столько, что мог только ползком перебираться от кровати к кровати. На беду мою, на другой же день после того, как я очнулся, у меня появились невероятные боли во всей правой половине груди, сильнейшее колотье при каждом вздохе. Мы все-таки придумали способ делать ванну моей больной: с большими трудностями я передвигал ее к краю постели, становился сам с противоположной стороны и осторожно сталкивал ее в ванну, поставленную у самой кровати, слегка поддерживая за край простыни. Труднее было извлечь ее обратно из ванны; для этого мы пользовались той же простыней, вытягивая ее теперь на себя, что и помогало моей больной выкатиться снова на постель. Дальнейшее — обтереть и закутать ее уже не представляло трудности.

Но боль в груди не оставляла меня и на следующие дни. Дождавшись доктора, я просил его послушать меня; он же, видимо, находил это излишним, быть может, боясь меня, как сыпнотифозного, б. м., не веря мне и считая меня за симулянта.

Но я настоял все же на своем и совершенно напрасно: едва прикоснувшись ухом к моей груди, он изрек, — да, что-то есть катарральное!

Это классическое „что-то катарральное“, —конечно нисколько меня не успокоило и мне не помогло, и я решил обойтись в дальнейшем без его высоко-научной помощи. Правда, я боялся пневмонии, но мои ощущения говорили лишь скорее за плеврит и притом сухой. Я позвал фельдшера и упросил его дать мне чуть не полуаршинную мушку. От нее у меня нарвало огромный пузырь, но мне тотчас же стало заметно лучше, что и подтвердило мой самодиагноз. И справляться с моей больной мне стало так же легче, очевидно и силы мои понемногу начали восстановляться.

Еще недели две состояние Розы внушало мне опасение. Я принимал всевозможные меры, чтоб поддержать ее силы, и добился того, что температура стала падать. Тогда мы вздохнули свободнее: оставалась одна забота — подкормиться. Здесь нам на помощь пришли наши товарищи — Кузнецев и Чарушин, давнишние Нерчинские жители, — так как наши собственные средства подошли к концу.

К этому времени нас посетила врачебная комиссия, назначенная, наконец, для исследования причин и характера распространения этой тюремной эпидемии. Во главе ее был Врачебный Инспектор Области д-р Щеглов. Комиссия подробно расспрашивала нас о начале и ходе заболевания и пришла

к заключению, что оба мы перенесли сыпной тиф, вероятно, заразившись от осмотренного нами больного в Чите, так как промежуток, прошедший с того момента до моего заболевания, как-раз соответствовал периоду инкубации сыпного тифа. Роза, очевидно, уже заразилась от меня, что и не было удивительно.

Еще какая-нибудь неделя, две и мы должны были продолжать наш путь. Емельянова давно уже отправили на Кару. Скоро пришел и наш черед, хотя мы далеко еще не чувствовали себя здоровыми.

Наш врач — д-р Шари, был слишком мягкий человек, но он не отличался большими достоинствами, как врач, и его помощь для нас была несущественна. Поэтому мы решили двинуться в путь, хотя и не окрепли еще сколько-нибудь основательно. К тому же для нас не было секретом и то, что доктор будет очень доволен нашим решением, — все же мы представляли для него некоторую обузу и, наконец, надо же нам чем-нибудь отблагодарить его за заботы и попечения о нас, а лучшей благодарности, чем исчезнуть с его глаз, он получить от нас и не мог, и не желал.

Близится к концу наше $1\frac{1}{2}$ годовое путешествие через всю Сибирь — наше новое отечество. Подходят к концу мытарства по тюрьмам, этапам

и больницам этой, такой богатой физически и морально страны, к ее несчастию, так долго игравшей роль какого-то сплошного пенитенциарного учреждения. Наше знакомство с нею пока слишком одностороннее, но проблески ее будущей для нас привлекательности все же достигали до нас. И в дальнейшем, когда пришлось мне половину моей жизни провести в ее холодных туманах, постепенно переходя от состояния полнейшего бесправия до вольного, свободного существования, — я больше и больше проникался симпатией и к ее суровому, но здоровому климату, и к ее красочной, колоритной природе и к ее сильным, самостоятельным и знающим себе цену обитателям, ее сынам. Нет, Сибирь не стала нам мачехой, она сумела заменить нам утраченную родину, и многие, многие из нас, если не стали сибирскими патриотами, на всю жизнь сохранили в себе глубокую симпатию к этой обширной русской колонии, пока лишенной благ истинной культуры, отнюдь не по ее вине, и быть может в ближайшем будущем имеющей завоевать себе самостоятельное и счастливое положение.

В средине декабря 84 г. с небольшой уголовной партией мы выехали из Нерчинска. Путь предстоял уже недлинный, притом же вся обстановка его изменила свой характер. Уже почти не было угрюмых, неотопленных этапов, и мы чаще всего останавливались в частных крестьянских избах. Оттого и сам конвой наш представлялся нам не

стражами, следящими за каждым нашим шагом, а случайными нашими спутниками.

И в самом деле, зачем им зорко смотреть за нами, ведь уйти нам двоим, еще очень слабым и больным, было решительно некуда и не зачем, и конвой, здраво рассуждая, предоставлял нам полную свободу и скорее — заботился, и очень трогательно, о нашем благополучии. А мы пользовались этой призрачной недолгой свободой во всю, знакомились с простым безыскусственным коренным населением Забайкалья и впервые получили возможность узнать его и уже немного полюбить.

Прекрасное, холодное, но светлое, всегда залитое ярким солнцем, богатое по своей природе Забайкалье! Как долго, начиная с этих моментов, пришлось нам пользоваться его благами, на ряду со всем жизненным злом, со всеми подчас непереносно тяжелыми переживаниями, какие уже надвигались на нас!

Начиная от Сретенска, мы ехали по льду широкой Шилки к неведомому будущему, несулящему нам больших радостей. Мы оставляем за собой село за селом и с каждым шагом приближаемся к конечной цели нашего продолжительного путешествия. Конец этапным мытарствам, начало новой, как сфинкс, неведомой судьбы!

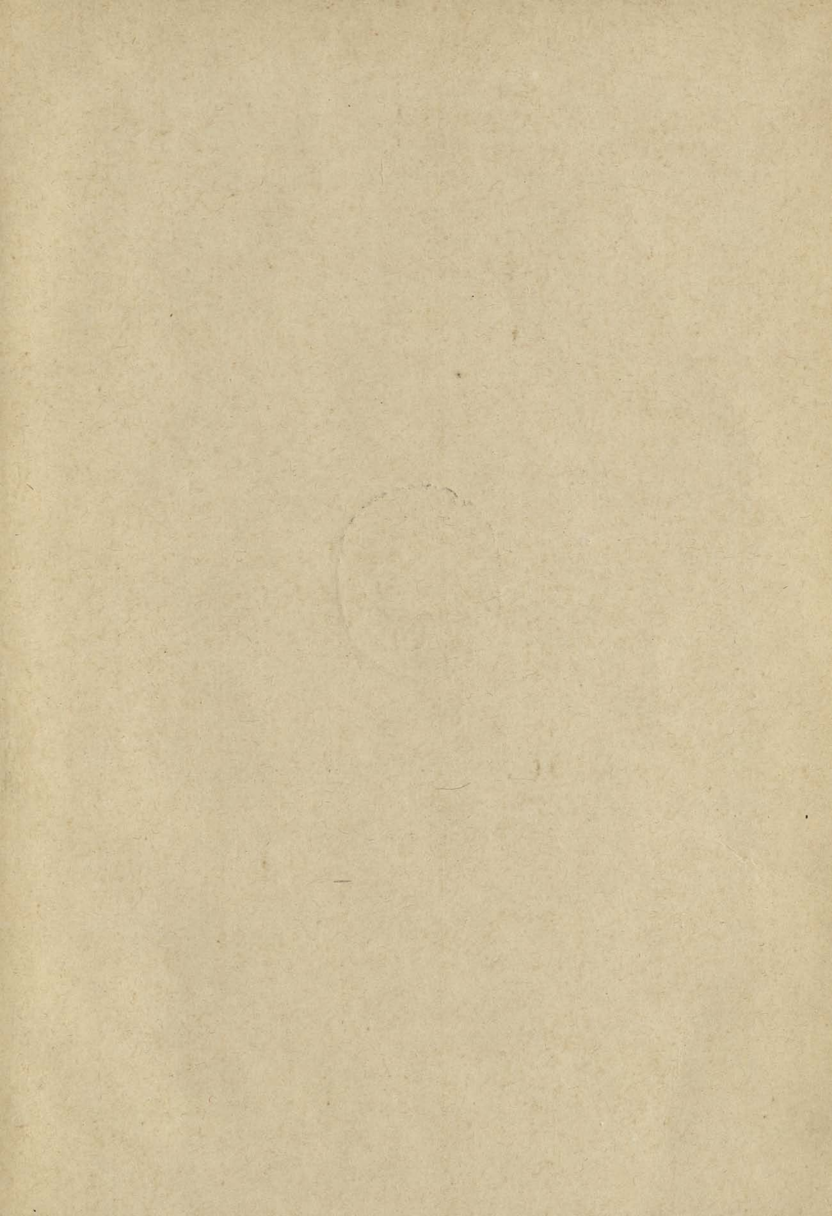
Вот Шилкинский завод, вот, наконец, и Кара, где нам предстоит провести многие, многие годы, полные сурового мрака, подчас безысходной тоски и отчаяния, но иногда и с проблеском радости.

Здесь же пам было суждено разделиться: Роза должна пойти в женскую, а я в мужскую тюрьму; но разделиться в этих условиях—значит расстаться и, как оказалось впоследствии, расстаться уже навсегда!

А. В. Прибылев.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

ОГЛАВЛЕНИЕ.




ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОЛОС

